

- [Ги Эрнест Дебор](#)

- [Глава 1](#)

- [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
    - [14](#)
    - [15](#)
    - [16](#)
    - [17](#)
    - [18](#)
    - [19](#)
    - [20](#)
    - [21](#)
    - [22](#)
    - [23](#)
    - [24](#)
    - [25](#)
    - [26](#)
    - [27](#)
    - [28](#)
    - [29](#)
    - [30](#)
    - [31](#)
    - [32](#)
    - [33](#)
    - [34](#)

- [Глава 2](#)

-

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

○ [Глава 3](#)

- 
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)

- [72](#)
- [Глава 4](#)
  - [73](#)
  - [74](#)
  - [75](#)
  - [76](#)
  - [77](#)
  - [78](#)
  - [79](#)
  - [80](#)
  - [81](#)
  - [82](#)
  - [83](#)
  - [84](#)
  - [85](#)
  - [86](#)
  - [87](#)
  - [88](#)
  - [89](#)
  - [90](#)
  - [91](#)
  - [92](#)
  - [93](#)
  - [94](#)
  - [95](#)
  - [96](#)
  - [97](#)
  - [98](#)
  - [99](#)
  - [100](#)
  - [101](#)
  - [102](#)
  - [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)

- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)

○ [Глава 5](#)

- 
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)

- [Глава 6](#)

- 
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)

- [Глава 7](#)

- 
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)

- [Глава 8](#)

-

- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [Глава 9](#)
  - 
  - [212](#)
  - [213](#)
  - [214](#)
  - [215](#)
  - [216](#)

- [217](#)
  - [218](#)
  - [219](#)
  - [220](#)
  - [221](#)
-

**Ги Эрнест Дебор**  
**Общество Спектакля**

# Глава 1

## Всеобщее разделение

*Определенно, в нашу эпоху, когда образ предпочитают вещи, копию – оригиналу, представление – действительности, а видимость – бытию, лишь иллюзия обладает святостью. Истина же профанирована. Более того, святость возрастает в той мере, в какой уменьшается истина, а иллюзия при этом возрастает, да так, что высшая степень иллюзорности являет собой высшую степень святости.*

*Л. Фейербах, «Сущность христианства».  
Предисловие ко второму изданию.*

**1**

В обществах, достигших современного уровня развития производства, вся жизнь проявляется как огромное нагромождение *спектаклей*. Всё что раньше переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление.

Образы, оторванные от различных аспектов жизни, теперь слились в едином бурлящем потоке, в котором былое единство жизни уже не восстановить. Реальность, рассматриваемая *по частям*, является к нам уже в качестве собственной целостности, в виде особого, *самостоятельного* псевдо-мира, доступного лишь созерцанию. Все образы окружающего мира собрались в самостоятельном мире образов, насквозь пропитанном кичливой ложью. Спектакль вообще, как конкретное отрицание жизни, есть самостоятельное движение неживого.

Спектакль одновременно представляет собой и само общество, и часть общества, и *инструмент унификации*. Как часть общества он явно выступает как сектор, сосредотачивающий на себе все взгляды и сознания. Однако, уже в силу того, что этот сектор является *разделённым*, он оказывается сосредоточением ложных взглядов и ложного сознания, а достигаемая им унификация – ничем иным, как официальным языком всеобщего разделения.

4

Спектакль – это не совокупность образов, но общественные отношения между людьми, опосредованные образами.

Спектакль нельзя понимать ни как искажение видимого мира, ни как продукт технологии массового внедрения образов. Скорее, это мировоззрение, *Weltanschauung*, реализовавшееся в действительности, облекшееся плотью материального. Это видение мира, вдруг ставшее объективным.

Во всей своей полноте спектакль есть одновременно и результат, и содержание существующего способа производства. Он не является каким бы то ни было дополнением к реальному миру, надстройкой к нему или декорацией. Это краеугольный камень нереальности реального общества. Во всех своих проявлениях, будь то информация или пропаганда, реклама или непосредственное потребление развлечений, спектакль являет собой модель преобладающего в обществе образа жизни. Спектакль – это повсеместное утверждение выбора, который *уже был сделан* в производстве, не говоря уже о последующем потреблении. Форма и содержание спектакля служат полным оправданием условий и целей существующей системы. Но спектакль помимо этого является еще и *постоянным наличием* этого оправдания, ибо он заполняет собой основную часть времени, проживаемого вне рамок производства.

Разделение само по себе является частью единства мира, частью совокупности общественной деятельности, расколотой на образ и действительность. Общественная деятельность, перед которой разыгрывается не зависящий от нее спектакль, есть также и реальная целостность, которая содержит в себе спектакль. Но расщепление этой целостности до такой степени калечит ее, что вынуждает представлять спектакль как самоцель. Язык спектакля состоит из знаков, исходящих от производства, в то же самое время являющихся и конечной целью этого производства.

Неверно было бы считать, что спектаклю противостоит та кипучая деятельность, что происходит в современном обществе. На самом деле, спектакль, извращающий реальность, является продуктом этой деятельности. Переживаемая реальность материально заполняется созерцанием спектакля и при этом впитывает его порядок в себя, одновременно придавая ему позитивное обоснование. Получается, что объективная реальность представлена с обеих сторон. Таким образом, реальность возникает в спектакле, а спектакль – в реальности. Это взаимное разделение и есть сущность и опора существующего общества.

9

Если мир перевернуть с ног на голову, истина в нём станет ложью.

Понятие спектакля объединяет в себе и объясняет огромное количество различных явлений. Разнообразие и контрасты являются лишь внешней стороной общественно организованной *видимости*, которая утверждает себя как нечто истинное и непреложное. Если рассматривать спектакль через призму его собственного о себе мнения, он *подтверждает* эту видимость, а также подтверждает то, что человеческая, социальная жизнь является всего-навсего простой видимостью. Однако критика, добравшаяся до сути спектакля, разоблачает его как видимую *негацию* жизни, как отрицание жизни, *ставшее видимым*.

Чтобы описать спектакль, его структуру и функции, а также обнаружить средства, с помощью которых спектакль можно уничтожить, мы должны в уме разложить его на составные части. *Анализируя* спектакль, мы, в какой-то мере, сами вынуждены разговаривать его языком, тем самым, вторгаясь на методологическую территорию того общества, которое и выражает себя в спектакле. Но спектакль есть не что иное, как смысл деятельности определенной социально-экономической формации, ее способ использования времени. Мы находимся под влиянием проживаемого нами исторического момента.

Спектакль рассуждает о себе как о чём-то чрезвычайно хорошем, неоспоримом и недостижимом. Он просто заявляет, «всё, что мы видим, – всё прекрасно; и всё прекрасное – перед нами». Отношение, которого спектакль к себе требует, есть в основе своей, пассивное приятие; впрочем, он его уже добился, ему никто и не думал возражать – да и как мог возразить, если спектакль обладает монополией на видимость!

Источником тавтологического характера спектакля является тот простой факт, что его методы одновременно являются и его целями. Это солнце, которое никогда не заходит над империей современной пассивности. Оно освещает всю поверхность мира и беспечно купается в собственной славе.

Общество, основанное на современной промышленности, является *зрелищным* вовсе не случайно и не поверхностно. Оно фундаментально подчинено спектаклю, является зрелищным в самой своей основе. В спектакле, который является образом господствующей экономики, цель – ничто, развитие – всё. Спектаклю не нужно ничего иного, кроме самого себя.

В качестве необходимого оформления производимых сегодня объектов, в качестве общего подтверждения рациональности системы, в качестве наиболее развитого экономического сектора, непосредственно фабрикующего всё возрастающее множество объектов-образов, *зрелище, спектакль* – это *основной продукт производства* современного общества.

Спектакль подчиняет себе живых людей в той же мере, в какой их уже целиком подчинила себе экономика. Спектакль есть ничто иное, как экономика, развивающаяся ради себя самой. Он представляет собой правдивое отражение производства вещей и ложную объективизацию трудящихся.

Первая стадия господства экономики над общественной жизнью привнесла в человеческое существование очевидную деградацию понятий «*быть*» в «*иметь*». Нынешняя же фаза тотальной оккупации общественной жизни достижениями экономики приводит к следующему обескураживающему искажению: теперь человек уже не имеет, но ему кажется, что он имеет; иначе говоря, фиктивное «обладание» уже не влечёт за собой ни престижа, ни какой-либо иной функции. В то же время, всякая индивидуальная реальность начинает регламентироваться общественной, т.е. становится напрямую зависящей от общественной власти. Индивидуальная реальность отныне легко фабрикуется и управляется общественной властью, ей позволяют *казаться* лишь в той мере, в какой она *не является*.

Там, где реальный мир расщепляется на простые образы, эти простые образы обретают плоть и становятся эффективными мотивациями гипнотического поведения, красочным сном для лунатиков. Спектакль, как тенденция *заставлять смотреть* на мир с помощью различных специализированных опосредствований (мир больше не может восприниматься непосредственно), естественным образом выбирает зрение в качестве привилегированного человеческого чувства, которым в предыдущие эпохи было осязание; это самое абстрактное, наиболее подверженное обману чувство вполне соответствует всеобщей абстрактности современного общества. Но спектакль не тождествен простому созерцанию, даже вкуче со слухом. Это нечто избегающее сферы деятельности людей, избегающее переосмысления и исправления трудом. Это нечто противоположенное диалогу. Спектакль воссоздает себя в каждом дискурсе, где прежде ещё оставалась независимая точка зрения.

Спектакль унаследовал все *слабые места* западного философского проекта, который пытался постигнуть деятельность в категориях *зрения*; более того, он основан на всеобъемлющем распространении точной технической рациональности, который из этого мышления вырос. Спектакль не реализует философию, но философизует реальность. Конкретная жизнь каждого человека деградировала, превратившись в *спекулятивную* вселенную.

Философия, власть отчужденной мысли и мысль отчужденной власти, никогда не сможет в одиночку заменить теологию. Спектакль и есть искомое материальное воссоздание религиозной иллюзии. Много веков назад люди добровольно заключили свои собственные силы и способности в непроницаемые облака религии – технология спектакля не разогнала их, а лишь связала с земной юдолью. Сама земная жизнь, таким образом, становится непрозрачной и бездыханной. Никто больше не выдумывает рай на небесах, загоняя себя вместо этого в темницы абсолютного отрицания, в свой фальшивый земной рай. Спектакль – это техническая реализация изгнания человеческих сил в преисподнюю; это окончательное разделение внутри самого человека.

В той же мере, в какой необходимость является общественной мечтой, мечта становится необходимой. Спектакль – это ночной кошмар закабалённого современного общества, которое если чего и желает – то только спать. Спектакль надёжно охраняет этот сон.

Тот факт, что практическая мощь современного общества оторвалась от самого общества и выстроила независимую империю в лице спектакля, объясняется исключительно тем, что этой мощи все еще не доставало целостности, и она оставалась в противоречии с собой.

В основе спектакля лежит самая древняя общественная специализация – специализация власти. Таким образом, спектакль – это специализированная деятельность, которая говорит за всё остальное. Это крайне дипломатичный и вежливый отзыв об иерархическом обществе, исходящий от самого этого общества, причём иные точки зрения внутри него строго запрещены. Как мы видим, и здесь самое современное одновременно является самым архаичным.

Спектакль – это непрерывное рассуждение, ода существующего порядка о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет власти в эпоху тоталитарного управления условиями существования. Фетишистское, чисто объективное представление отношений внутри общества спектакля нагло скрывает тот факт, что они на самом деле являются отношениями между людьми и классами: такое впечатление, что вторая природа с ее неизбежными законами подчинила себе наш мир. Но спектакль не есть необходимый продукт технического развития, рассматриваемого, конечно, как *естественное* развитие. Напротив, общество спектакля – это форма, которая сама выбирает свое техническое содержание. Рассмотрим спектакль в узком смысле «средств массовой информации». Mass media являются наиболее ярким и поверхностным проявлением спектакля. На первый взгляд, СМИ вторглись в жизнь как простое оборудование для мгновенной коммуникации, очередное удобство – однако это новшество обернулось настоящим Троянским конём, со своими эгоистическими целями и помыслами о саморазвитии. Если уж так вышло, что общественные нужды эпохи, в которую развивается подобная техника, могут быть удовлетворены лишь при помощи этой техники; если управление данным обществом и контакты между людьми больше не могут осуществляться иначе, как посредством мгновенной коммуникации, то это только потому, что «коммуникации» по сути своей стали *односторонними*. Концентрация «коммуникаций» есть, таким образом, накопление в руках власть предержавших существующей системы средств, которые позволяют им продолжать навязывать свой диктат. Всеобщее расслоение, создаваемое спектаклем, неотделимо от современного *государства*, т.е. от общественного расслоения, вызываемого разделением труда и прочих орудий классового господства.

*Разделение* – это альфа и омега спектакля. Когда взору исследователей впервые открылось разделение труда и классовая структура общества – тогда-то мы, наконец, и увидели тот таинственный порядок, мифический строй, в который власть облекала себя изначально. В прошлом категория «священного» оправдывала космический и онтологический порядок, который отвечал интересам господ; она показывала и приукрашивала то, что обществу было *запрещено*. Поэтому власть как сфера разделения всегда имела зрелищный аспект. Однако всеобщее преклонение перед застывшими религиозными образами означало лишь признание за бедными права на воображаемое продолжение реальной жизни, иллюзорную компенсацию за нищету, которая, впрочем, по-прежнему маячила перед глазами угнетённых классов. Спектакль, напротив, указывает на то, что обществу *разрешено*, однако *разрешённое* абсолютно противоположно *возможному*. В рамках спектакля всё дозволено, но ничто не возможно. Спектакль допускает лишь бессознательную реакцию на практическое изменение условий существования. Спектакль является продуктом самого себя, самоцелью, эта самовоспроизводящаяся структура диктует собственные правила: спектакль – это псевдосакральная сущность. Он и не скрывает того, чем *является*: разделяющей властью, которая развивается сама по себе: благодаря постоянно расширяющемуся рынку, благодаря росту производительности, который, в свою очередь, достигается все большей специализацией в разделении труда – отныне труд заменён монотонными механическими движениями сборщика на конвейере. Любое течение, не согласное с таким положением дел, любое критическое сознание уничтожаются тяжёлой, победоносной поступью спектакля. Впрочем, грандиозные силы, выпущенные на волю разделением, всё ещё не нашли возможности *объединиться*.

Всеобщее отчуждение трудящихся от продуктов их деятельности означает также конец непринуждённого общения между трудящимися об объекте их деятельности. По мере того, как происходит дальнейшее накопление отчужденных продуктов, по мере нагнетания производственного процесса, права на общность и общение становятся эксклюзивным достоянием управленцев системы. Результатом реализации экономической системы, основанной на отчуждении, является *пролетаризация* мира.

По причине успеха отчужденной системы производства, чьим продуктом является отчуждение как таковое, фундаментальная область опыта, которая на ранних ступенях развития человеческого общества ассоциировалась с деятельностью человека, теперь медленно переходит в сферу не-работы, бездеятельности. Но эта бездеятельность ни в коем случае не означает свободу от производственной деятельности: она зависит от производственной деятельности и находится в тяжёлой, рабской зависимости от нужд и результатов производства; она сама есть продукт рационализации производства. Не может быть свободы вне деятельности, вне труда, поэтому в рамках спектакля труд медленно, но верно подпадает под запрет, – это естественный результат того, что всякая деятельность отныне подчинена единственной цели, а именно, созданию спектакля. Поэтому то, что сейчас называют «освобождением от труда», то есть увеличение свободного времени, досуга, не является ни освобождением в рамках самого труда, ни освобождением от мира, созданного этим трудом. Никакая деятельность, похищенная из труда, не может окупиться его результатами.

Экономическая система, основанная на изоляции, состоит в *циклическом производстве изоляции*. Изоляция служит основанием для технического прогресса, и технический прогресс, в свою очередь, также приводит к изоляции. От автомобиля до телевизора – все товары, *выбираемые* по указке спектакля, одновременно являются орудиями постоянного навязывания условий изоляции «одиноким толпам». Спектакль раз за разом, с возрастающей настойчивостью и упорством, воспроизводит собственные предпосылки.

Вместе с возникновением спектакля утрачивается былое единство мира, а массовое распространение спектакля превосходно демонстрирует, насколько ужасной была эта потеря: абстрагирование всякого частного труда, да и всего производства в целом, находит своё идеальное выражение в спектакле, для которого *формой конкретного существования* как раз является абстракция. В спектакле одна, крошечная часть мира хочет выдать себя за весь мир в целом, она даже считает себя лучше и полноценней этого мира. Спектакль есть ничто иное, как обыденный язык этого разделения. Зрителей ничто не связывает друг с другом, кроме спектакля – завораживающего центра, стягивающего к себе все взгляды и сознания, и, тем самым, поддерживающего изоляцию зрителей друг от друга. Спектакль объединяет отдельные части, но объединяет их именно как *отдельные*.

Отчуждение зрителя и подчинение его созерцаемому объекту (который является продуктом собственной бессознательной деятельности зрителя) выражается следующим образом: чем больше он созерцает, тем меньше он живет; чем с большей готовностью он узнает свои собственные потребности в тех образах, которые предлагает ему господствующая система, тем меньше он осознаёт своё собственное существование и свои собственные желания. Влияние спектакля на действующий субъект выражается в том, что поступки субъекта отныне не являются его собственными, но принадлежат тому, кто их ему предлагает. Вот почему зритель нигде не чувствует себя дома – вокруг него сплошной спектакль.

Рабочий представляет не самого себя, но независимую от себя рабочую силу. На его силе и зиждется производство вместе с его изобилием, однако результат труда возвращается к рабочему лишь в виде *изобилия лишений*. Вместе с потреблением отчуждённых ранее продуктов, всё время и пространство данного мира становятся ему *чуждыми*. Отныне он попадает в новый мир, чья территория точно очерчена спектаклем. Те самые силы, которые уже покинули нас, теперь предстают перед нами во всей своей красе и величии.

Функция спектакля в обществе заключается в постоянном производстве отчуждения. Экономический рост соответствует в основном расширению именно этого сектора промышленного производства. Если что-то и растёт само по себе, параллельно с ростом экономики, то это лишь то самое отчуждение, которое является её первоначалом.

Человек, отчужденный от продукта своего труда, тем не менее, добровольно и упорно продолжает производить фрагменты окружающего мира, вкладывая в этот процесс всё больше своих сил, и в результате оказывается ещё более отчужденным от этого мира. Чем больше его собственная жизнь является продуктом его собственного труда, тем больше он отчужден от своей жизни.

Спектакль – это *капитал*, находящийся на такой стадии накопления, когда он превращается в образ самого себя.

## Глава 2

# Товар как Спектакль

*Товар раскрывает перед нами свою подлинную сущность, когда становится универсальной категорией всего общества. Только в этом контексте овеществление, порождённое товарными отношениями, начинает влиять как на объективную эволюцию общества, так и на позицию человека по отношению к этому развитию. Лишь затем товар становится решающим фактором для покорения человеческого сознания и сведения его к формам, в которых это овеществление уже выражено... По мере механизации и рационализации труда, отсутствие воли у человека приводит к тому, что его деятельность становится всё менее и менее деятельной, но зато всё более и более созерцательной.*

*Д. Лукач, «История и классовое сознание».*

Сущность развития спектакля заключается в том, что он перехватывает и заставляет застыть всё, что ранее в человеческой деятельности пребывало в *текущем состоянии*. Эти застывшие формы посредством *отрицательной переформулировки* жизненных ценностей обретают невиданный спрос – и здесь мы снова встречаемся со старым врагом – товаром, который так легко умеет выдавать себя за нечто простое и само собой разумеющееся, тогда как на самом деле, он имеет очень сложную структуру и полон метафизических тонкостей.

То, что в обществе выражается господством «вещей скорее сверхчувственных, чем чувственных», называется принципом товарного фетишизма. Этот принцип безоговорочно выполняется в обществе спектакля, где чувственный мир заменён существующей над ним надстройкой из образов, которая заявляет себя как чувственное *par excellence*.

Мир, *демонстрируемый* спектаклем, существует и не существует одновременно. Он является миром товара, который господствует надо всем чувственно и непосредственно переживаемым. Его мы ощущаем по воздействию на человека: он способствует не только *отдалению* людей друг от друга, но и отчуждению произведённого ими продукта.

Утрата качества очевидна на всех уровнях языка спектакля: от объектов, которые он восхваляет, до поведения, которое он предписывает. Этот язык лишь передаёт указания реального производства, которому, впрочем, нет дела до самой реальности: оно создаёт товар, а товар имеет лишь количественную оценку. Производство делает упор лишь на количество, и может развиваться лишь в рамках количества.

Развитие, исключившее из себя критерий качества, само претерпевает качественное изменение: спектакль указывает на то, что оно перешло порог *собственной избыточности*. Пока это верно лишь для некоторых областей производства, однако во всемирном масштабе эта тенденция уже восторжествовала. Ведь товарные отношения существуют именно во всемирном масштабе, что подтверждается на практике: воссоединение Земли произошло под эгидой мирового рынка.

Развитие производственных сил являлось *реальной бессознательной историей*, в рамках которой, сперва, были созданы первоначальные условия существования и выживания человеческих сообществ, а потом – расширены рамки этих условий, ибо они являлись экономическим основанием всех их предприятий. В экономике первобытных сообществ товарный сектор представлял собой некоторый избыток, не затребованный на цели выживания. Товарное производство, предполагающее обмен разнообразными продуктами между независимыми производителями, еще долго могло бы оставаться ремесленным и выполнять лишь незначительную экономическую функцию, тем самым, маскируя свою чисто количественную суть. Однако там, где возникли благоприятные социальные условия для обширной торговли и накопления капитала, там товарное производство захватило полное господство над экономикой. В результате вся экономика превратилась в то, чем является товарное производство – процессом количественного развития. Это непрекращающееся развертывание экономической мощи в форме товара, превратившее человеческий труд в товар, в *наемный труд*, постепенно приводит к избытку товаров, при котором первоначальный вопрос о выживании уже кажется решенным – однако на деле он оказывается ещё более актуальным и важным. Экономический рост освобождает общество от давления природной среды, требовавшего от него непосредственной борьбы за выживание, но теперь общество оказывается зависимым от своего освободителя. Статус *независимости* товара распространился на всю свою сферу его господства – на экономическую систему. Экономика преобразует мир, но преобразует его только в мир экономики. Та псевдоприрода, в которую был отчужден труд человека, требует, чтобы её *обслуживали* вечно. Это обслуживание само себя ценит и оправдывает, при этом все официальные общественные проекты и силы направлены единственно на него. Избыток товаров, точнее, товарных отношений, отныне превращается в *прибавочную стоимость выживания*.

Когда товар достаточно незаметно утвердил своё безраздельное господство в экономике, сама экономика всё ещё оставалась не воспринятой и не понятой как материальная база общественной жизни – настолько она казалась всем обыденной и до конца разгаданной. В обществе, где конкретный товар встречается редко или утрачивает первостепенное значение, явно господствующей силой становятся деньги, которые выступают посланником от имени той же могущественной и неведомой силы. Одновременно с промышленной революцией, мануфактурным разделением труда и массовым производством, ориентированным на мировой рынок, товар проявляется как сила, готовая *оккупировать* всю общественную жизнь. Именно тогда политическая экономия становится господствующей наукой и наукой о господстве.

Спектакль – это стадия, на которой товару уже удалось добиться *полной оккупации* общественной жизни. Оказывается видимым не просто наше отношение к товару – теперь мы только его и видим: видимый нами мир – это мир товара. Современное экономическое производство распространяет свою диктатуру и вширь, и вглубь. Даже в тех уголках планеты, которые ещё не были затронуты индустриализацией, его царство ощущается через наличие нескольких товаров-звёзд и империалистического господства стран, лидирующих в развитии производства. В передовых странах общественное пространство заполнено целыми геологическими пластами товаров. На данном этапе «второй индустриальной революции» отчуждённое потребление становится новой обязанностью масс, дополнительно к отчуждённому производству. Весь без исключения *проданный труд* общества повсеместно превращается в *тотальный товар*, циклическое воспроизведение которого и является самоцелью. Для этого воспроизведения требуется, чтобы такой тотальный товар частично возвращался частному индивиду, абсолютно отделённому от производственных сил, действующих как единая, целостная система. Следовательно, с этого момента специализированная наука о власти должна, в свою очередь, специализироваться – и она дробится на социологию, психотехнику, кибернетику, семиотику и т. д., поддерживая при этом саморегуляцию на всех этих уровнях.

Если на ранней стадии капиталистического накопления «политическая экономия видела в *пролетарии* лишь *рабочего*», который должен был получать лишь необходимый минимум для поддержания своей рабочей силы, и ни в коем случае не нуждавшегося в «досуге и человеческом облике», то теперь эта идейная позиция господствующего класса изменилась, т.к. производство товаров достигает такого уровня избыточности, который требует от рабочего избытка соучастия. Этот рабочий, внезапно отмытый от тотального презрения, на что ему недвусмысленно указывают способы организации производственного процесса и контроля, вдруг находит своё «я» вне производства. Он ежедневно обнаруживает, что в сфере потребления с ним обращаются с потрясающей вежливостью, почти как с баринном. Впрочем, *товарный гуманизм* берёт под свою заботу «досуг и человеческий облик» трудящегося просто потому, что политическая экономия сегодня может и должна господствовать над этими сферами именно как *политическая экономия*. Таким образом, «всеобщее отрицание человека» берет под свой контроль всю полноту человеческого существования.

Спектакль – это непрерывная опиумная война, которая ведётся с целью уничтожить даже в мыслях людей различия между товарами и жизненными ценностями, между развлечениями и выживанием. Конечно! Понятие «выживания» становится всё шире, туда включается даже то, что ранее считалось неуёмной роскошью. Но если потребление выживания должно постоянно возрастать, то это значит, что оно обязано продолжать *содержать в себе лишение*. Выживание постоянно дорожает, и нет предела росту его потребления – это происходит потому, что нет такого «лишения», которое не могло бы быть удовлетворено, это «лишение» будет просто более дорогим, нежели предыдущее.

Автоматизация, которая представляет собой одновременно и самый развитой сектор современной индустрии, и экономическую модель, которая превосходно воплощает её деятельность, приводит мир товара к следующему противоречию: техническое совершенствование, явно способное заменить человеческий труд, одновременно должно сохранить труд как товар, и труд как единственный источник возникновения товара. Для того чтобы автоматика, или любая другая, менее радикальная форма повышения производительности труда, не уменьшала времени, затрачиваемого обществом на какой-либо труд, следует создавать новые рабочие места. С этой задачей прекрасно справляется сектор услуг, так называемый, третичный сектор. Он представляет собой целую армию людей, занятых в распределении и восхвалении современных товаров; именно на создание и удовлетворение этих искусственных потребностей мобилизуется все, кто не занят в реальном производстве товаров.

Меновая стоимость могла сформироваться лишь как выражение потребительной стоимости, однако ее самостоятельная победа создала условия для своего безоговорочного господства. Мобилизуя всё человеческое потребление и захватывая монополию на его удовлетворение, она дошла до того, чтобы *управлять потребностями*. Процесс обмена отождествился с любыми возможными потребностями и низвел их до зависимости от себя. Меновая стоимость – это *condottiere* потребительной стоимости, она покупает победу в борьбе за управление потреблением.

По причине постоянного снижения себестоимости производства, в капиталистической экономике становится характерной тенденция к *непрерывному снижению потребительной стоимости*. От этого внутри понятия «выживания» возникают всё новые и новые «лишения», и ради их удовлетворения большинство людей вынуждены идти в наёмные рабочие – ведь эти «лишения», прежде всего, ассоциируются с нищетой. Именно поэтому у рабочего нет выбора: ему остаётся либо восполнить «лишение», либо умереть. Это самый настоящий шантаж: отныне иллюзии превращаются в самый ходовой товар, а потребление в самой минимальной и бедной его форме (питание, жильё) теперь является лишь каплей в иллюзорном море подорожавшего выживания. Отныне потребитель начинает потреблять иллюзии. Товар – это реально существующая иллюзия, а спектакль – манифестация этой иллюзии.

В поставленной с ног на голову вселенной спектакля потребительная стоимость, которая раньше имплицитно содержалась в меновой стоимости и была скрыта от посторонних глаз, теперь вынуждена эксплицироваться, выйти на свет. Это происходит потому, что её подлинная сущность подтачивается сверхразвитой товарной экономикой, потому что псевдо-жизни теперь требуется некое псевдо-оправдание.

Спектакль является новой личиной денег, которые, как известно, являются всеобщим абстрактным эквивалентом всех товаров. Деньги подчинили себе общество, играя роль главного эквивалента и меры: с их помощью можно оценить различные товары, которые нельзя сравнить исходя из их полезности. Спектакль – это современное дополнение к деньгам: с его помощью можно оценить сразу весь мир товара. Спектакль является мерой всех общественных потребностей. Спектакль – это деньги, на которые мы можем лишь *любоваться*, ибо в нём всё, что можно было потребить, уже заменено абстрактным представлением. Спектакль не просто слуга *псевдо-потребления*, он уже сам по себе есть псевдо-потребление жизни.

В эпоху *экономического* изобилия сосредоточенный результат общественного труда становится видимым и подчиняет всю реальность этой видимости, которая отныне является главным продуктом этого труда. Капитал более не является скрытым центром, управляющим способом производства – процесс его накопления теперь происходит даже на самых далёких земных окраинах, причём это накопление начинает медленно но верно принимать видимую форму. Экспансия «цивилизованного общества» – ясное тому подтверждение.

Торжество автономной, самодостаточной экономики неминуемо обернётся её последующей гибелью. Выпущенная, точно джин из бутылки, она уничтожает один жизненно важный элемент, который раньше служил незыблемой основой всех прежних обществ – *экономическую необходимость*. Когда эта необходимость подменяется гедонистической жаждой бесконечного экономического роста, удовлетворение основных человеческих потребностей превращается в непрерывное создание новых псевдо-потребностей, которые, в свою очередь, служат единственной цели – торжеству самодостаточной экономики. Впрочем, нужда в автономной экономике постепенно перестаёт быть фундаментальной потребностью человеческого общества – это осознаётся по мере того, как она исчезает из *общественного бессознательного*, которое, само о том не подозревая, от неё зависело. «Всё сознательное рано или поздно изнашивается. Бессознательное – остаётся неизменным. Но чуть стоит ему высвободиться, не превратится ли и оно, в свою очередь, в руины?» (Фрейд).

В тот момент, когда общество вдруг понимает, что оно зависит от экономики, на самом деле, уже экономика находится в зависимости от общества. Вся эта монструозная сила, которая постоянно возрастала до тех пор, пока не добилась абсолютного господства над миром, по мере своего высвобождения, теряет всё своё могущество и власть. То, что ранее было экономическим *Оно*, теперь должно стать *Я*. Но как будет выглядеть этот новый субъект? Предпосылки к этому могут возникнуть только из общества, точнее, из борьбы, ведущейся в обществе. Его возможный вид целиком зависит от исхода классовой борьбы, которая является как продуктом, так и создателем экономического основания истории.

Имеем ли мы право осознавать наши желания, даже более того, обладать сознанием!? – вот что стоит на кону современной классовой борьбы. У неё может быть только два исхода: в одном случае, нас ожидает уничтожение классов, мир, где трудящиеся смогут контролировать все сферы своей собственной деятельности. В другом... общество спектакля, в котором товар созерцает сам себя в им же созданном мире.

## Глава 3

### Единство и разделение видимости

*По всей стране на философском фронте разворачивается новая оживленная полемика по поводу концепций «одного, разделяющегося на два», и «двух, сливающихся в одно». Этот спор олицетворяет собой борьбу тех, кто за и кто против материалистической диалектики, между двумя концепциями окружающего мира: пролетарской и буржуазной. Те кто, утверждают «одно разделяющееся на два» как фундаментальный закон всех вещей, придерживаются материалистической диалектики, а утверждающие, что основной закон вещей в том, что «два сливаются в одно» – против материалистической диалектики. Две эти стороны прочертили между собой четкую демаркационную линию, и их аргументы диаметрально противоположны. Эта полемика отражает на идеологическом уровне острую и сложную классовую борьбу, которая разворачивается в Китае и во всем мире.*

*«Красное знамя» (Пекин) 21 сентября 1964.*

Подобно всему современному обществу, спектакль един и разобщён одновременно. Как и общество, спектакль надстраивает своё единство именно там, где этого единства быть не может. Однако спектакль опровергает это противоречие, переиначивая его смысл на противоположный: оказывается, что видимый раскол являет собой незыблемое единство, тогда как на самом деле всякое подобное единство зыбко и представляет собой явный раскол.

Факт того, что и в мировом масштабе, и в рамках каждой отдельно взятой страны кипит борьба различных сил за контроль над социально-экономической системой, является видимым опровержением официальной концепции единого мира.

Театрализованная, показная борьба соперничающих форм разделённой власти имеет под собой вполне реальную подоплёку, так как она указывает на дисбаланс и конфликты в развитии всей системы, на противоречия между классами и подклассами, которые признают систему и хотят получить свою долю власти. Так же, как развитие стран с передовой экономикой протекает при постоянных столкновениях различных приоритетов, так и тоталитарное управление экономикой со стороны государственной бюрократии не уничтожает разногласий, касающихся способов производства и распределения властных полномочий; то же самое относится и к странам, пребывающим в колониальной или полуколониальной зависимости. Спектакль включает в себя эти экономические противоречия и трактует их как явления абсолютно разных типов общества. Однако за такой дифференциацией можно увидеть фундаментальную закономерность: все эти различные формы управления экономикой объединены в общую систему, в согласованное движение, подчинившее себе весь мир, – все они являются формами капитализма.

Общество-носитель спектакля господствует над слаборазвитыми регионами не только с помощью экономической гегемонии, но в качестве *общества спектакля*. Современное общество в облике спектакля захватило уже все континенты; даже там, где ещё не имеется должной материальной базы, спектакль раскинул свои тенёта. Общество спектакля диктует программу правящему классу и участвует в его формировании. Подобно тому, как оно предоставляет псевдо-блага для их вождения, оно предлагает местным революционерам фальшивые модели революции. Спектакль с бюрократической моделью власти, довлеющий над некоторыми индустриальными странами, на самом деле, является неотъемлемой частью всемирного спектакля – одновременно его псевдо-отрицанием и опорой. В любом случае, спектакль для каждого общества по-своему определяет тоталитарные задачи для аппарата коммуникации и администрирования; однако эти задачи на уровне глобального функционирования системы участвуют в *мировом разделении задач спектакля*.

Разделение задач спектакля сохраняет общую структуру существующего порядка и, что особенно важно, его доминирующий полюс развития. Спектакль возникает на почве избыточной экономики, и именно из неё вызревают плоды, призванные установить гегемонию на мировом рынке спектакля, невзирая на идеологические и полицейские протекционистские барьеры любого локального спектакля, претендующего на автократию.

Спектакль предоставляет собой плотную ширму видимого разнообразия и изобилия, но если заглянуть за неё, можно убедиться, что в мире господствует *банальность*. Благодаря высокоразвитому товарному производству, во много раз увеличился выбор социальных ролей и объектов потребления. Пережитки религии и семьи остаются для человека главной формой наследования классового и социального статуса, но, несмотря на всё то моральное давление и угнетение, что они оказывают, эти пережитки входят в понятие наслаждения *этим* миром, этой жизнью. Иначе говоря, этот мир есть ничто иное, как гнетущее псевдо-наслаждение. Аналогично, с блаженным приятием действительности может хорошо сочетаться показной бунт – и этим выражается то, что даже неудовольствие превратилось в некий товар, чуть только промышленность освоила его производство.

Знаменитость является не живым человеком, но его ряженым образом, репрезентацией в рамках спектакля. Его имидж целиком зависит от текущей роли, тем самым, собой он выражает исключительно банальность. Удел звезды – *мнимое проживание жизни*; люди ассоциируют себя со звездой, чтобы хоть как-то компенсировать этим убогость окружающего мира, своей жизни; хоть на миг, пока идёт кино, отвлечься от монотонного конвейерного труда. Знаменитости для того и созданы, чтобы обладать своим стилем жизни, они могут свободно выражать свой взгляд на мир – всего этого лишены те, кто может лишь ассоциировать себя со звездой. Знаменитости воплощают результат общественного труда, к которому не может прикоснуться рабочий. Звёзды имитируют побочные продукты этого труда: они правят и развлекаются, принимают решения и потребляют – всё это представляет собой одностороннюю коммуникацию, глумление над трудящимся, который может лишь издали наблюдать за пиршеством на звёздном Олимпе. Бывает, что государственная власть персонифицируется в виде псевдо-звезды, а иногда и звезда потребления через плебисцит наделяется псевдо-властью. Но все действия и поступки знаменитостей являются лишь ролевыми, они не свободны, а значит, банальны.

Действующее лицо спектакля, выставленное на сцену в качестве звезды, является противоположностью индивида, его врагом, как сам по себе, так и во всех, кто ему уподобляется. Войдя в спектакль как объект для подражания, он отказывается от всех своих индивидуальных черт, ради того, чтобы отождествить себя с общим законом подчинения существующему порядку. Звезда потребления занимается непосредственной репрезентацией различных типов личности, и недвусмысленно указывает на то, что каждый из тех типов в равной степени обладает доступом ко всей полноте потребления и равным образом обретает в ней счастье. А волевая знаменитость должна обладать полным набором тех качеств, которые принято называть человеческими достоинствами. Итак, все видимые различия между ними теряют значение перед тем фактом, что все их типажи построены на общей безупречности и превосходстве во всех сферах жизни. Хрущёв стал генералом, чтобы командовать войсками во время Курской битвы, но не на самом поле боя, а на её двадцатую годовщину, будучи тогда уже главой государства. Кеннеди оставался оратором даже тогда, когда над его могилой произносили надгробную речь, ибо Теодор Соренсен продолжал писать речи его приемнику в том же стиле, с которым ассоциировался покойный. Все эти замечательные люди, олицетворяющие собой систему, становятся известными не потому, что остались сами собой, а как раз наоборот, убили в себе всякую индивидуальность, опустились ниже действительности самой ничтожнейшей индивидуальной жизни, и это все знают.

Иллюзорный выбор в показном изобилии позволяет нам также выбирать и между спектаклями: они тоже могут конкурировать между собой или, наоборот, союзничать. Однако главная сущность этого выбора заключена в том, что нам позволено играть одну из многих предложенных спектаклем ролей (путём потребления вещей, которые ей сопутствуют). Все эти роли одновременно взаимно исключают друг друга и пересекаются – оживляя, тем самым, потешную борьбу воображаемых качеств; однако всё это показное многообразие создано лишь для того, чтобы добиться ещё большего подчинения и количественной заурядности. Поэтому сейчас и происходит возрождение различных архаических оппозиций регионального или расового толка – они призваны возвысить вульгарные иерархические ограничения в потреблении до фантастических высот онтологического превосходства. Таким же образом происходит реставрация различных соревнований – от спорта до выборов; происходящая в них конфронтация смехотворна, однако они привлекают к себе значительный полуигровой интерес. Везде, где появляется избыточное потребление, главное противостояние происходит между молодёжью и взрослыми, и оно также превращается в фальшивую конфронтацию двух ролей: ибо уже нигде не существует взрослого – хозяина собственной жизни, и молодёжи – стремящейся к переменам и преобразованию мира. К преобразованию мира стремится сейчас только экономическая система, ведь динамизм – одно из основных свойств капитализма. Отныне только *вещи* могут править в этом мире, быть молодыми, соревноваться и вытеснять друг друга.

Все, кто занят показной борьбой в рамках спектакля, *объединены нищетой*. За маской тотального потребления могут скрываться различные формы одного и того же отчуждения, все они построены на зыбком грунте реальных противоречий. Спектакль может существовать либо в *концентрированной*, либо в *распылённой* форме, в зависимости от того, какой уровень нищеты он желает сохранить. И в том, и в другом случае, спектакль – это лишь образ однообразной, но долгой и счастливой жизни, укрывшейся в норке нищеты от ужаса и скорби.

Концентрированный спектакль, как технология государственной власти, присущ бюрократическому капитализму, хотя он может быть использован и в странах со смешанной экономикой, а, иногда, во время кризисов, и в странах развитого капитализма. Мы называем бюрократическую собственность концентрированной в том смысле, что каждый отдельный бюрократ связан с экономической властью лишь посредством бюрократического сообщества и только как член этого сообщества. Более того, товарное производство, слабо развитое при бюрократическом капитализме, также концентрируется в руках бюрократии, которая контролирует весь общественный труд и продаёт обратно обществу лишь самый минимум, достаточный для выживания. Диктатура бюрократической экономики не предоставляет эксплуатируемым массам значительной свободы самовыражения, она обладает монополией на любой выбор и довольно болезненно относится к любому выбору, сделанному не по её воле: даже если он касается еды или музыки – система считает его призывом к уничтожению бюрократии и решительно пресекает. Подобная диктатура отличается насильственными методами воздействия. Навязываемый в концентрированном спектакле образ блага являет собой официально признанную действительность и, как правило, олицетворяется одним человеком – гарантом тоталитарной сплочённости общества. Каждый должен магически отождествить себя с этой абсолютной знаменитостью или исчезнуть. Эта знаменитость является не неким абсолютом потребления, но образом героя, который оправдывает своим существованием абсолют эксплуатации, который представляет собой лишь ускоренное террором первоначальное накопление капитала. Если каждый китаец должен учиться у Мао и, таким образом, быть Мао, так это только потому, что ему *больше быть нечем*. Там, где господствует концентрированный спектакль, также господствует полиция.

Распылённый спектакль сопровождает изобилие товаров и безмятежное развитие современного капитализма. Здесь каждый отдельно взятый товар оправдывает размах производства, а спектакль является апологетическим перечнем всех произведённых товаров. Здесь тон задаёт избыточная экономика. Различные товары-звёзды одновременно отстаивают свои, противоречащие друг другу проекты общественного благоустройства: автомобильный спектакль требует для себя хорошую транспортную сеть, которая невольно уничтожит старые города, тогда как спектакль самого города ратует за сохранение памятников старины. Поэтому какое бы то ни было счастье уже становится проблематичным, ибо требует *потребления всего*. А так как потребитель может дотронуться лишь до малой части всего товарного благоденствия, то и всякое счастье в товаре оказывается недостижимым.

Каждый товар сражается только за себя, не признаёт другие товары и навязывает себя повсюду так, будто кроме него ничего не существует. Таким образом, спектакль – это эпическое воспевание борьбы между товарами, бесконечной борьбы, в которой ни один товар не возьмёт приступом Трою и не добьётся гегемонии. Спектакль славословит не людей и их оружие, а товары и их войны. В этой слепой борьбе каждый конкретный товар, влекомый желанием победить все остальные, бессознательно добивается большего: отныне товар становится миром, что одновременно означает то, что сам мир становится товаром. В этом и заключается *хитрость товарного разума*: пока индивидуальные черты товара изнашиваются и стираются в этой борьбе, общая товарная форма движется к своей абсолютной, всеобщей реализации.

Удовлетворение, которого уже невозможно достичь потреблением избыточного товара, теперь найдено в признании его ценности как товара как такового: потребление *товаров* становится самодостаточным; потребитель исполнен религиозного благоговения по отношению к полновластной свободе товара. Волны энтузиазма по поводу того или иного продукта молниеносно разносятся и поддерживаются средствами массовой информации. Стиль одежды приходит из фильма, журналы создают имя ночным клубам, которые вводят в обиход всякие причудливые наряды. Здесь возникает феномен забавных безделушек, *gadgets*: в тот момент, когда товарная масса начинает стремиться к необычности, отклонению от нормы, само отклонение становится особым товаром. Мы можем распознать даже некую мистическую преданность к трансцендентности товара: например, за рекламными брелоками, которые обычно прилагаются к дорогим покупкам – их начинают коллекционировать, в среде коллекционеров ими обмениваются. Эти брелоки специально производятся для того, чтобы их собирали, поэтому тот, кто их коллекционирует, накапливает *товарные индульгенции* – знак преданности, обозначающий реальное присутствие товара среди его верных сторонников. Так овеществлённый человек выставляет напоказ своё доказательство интимной связи с товаром. Товарный фетишизм доводит людей до состояния нервной лихорадки, чем мало отличается от религиозного фетишизма былых времён: такой же экстаз, конвульсии и восторг чудом исцелённых. И здесь потребляется только подчинение.

Ясно, что подлинная, аутентичная потребность не сможет соперничать с псевдо-потребностями, навязанными современным обществом; ни одно подлинное желание, не сфабрикованное обществом и его историей, не может возникнуть в умах обывателей. Избыточность товара выступает как абсолютный разрыв в органическом развитии общественных потребностей. Его механическое накопление высвобождает нечто *безгранично искусственное*, перед которым всякое живое желание становится беспомощным. Совокупная мощь безгранично искусственного повсеместно влечёт за собой фальсификацию *общественной жизни*.

В обществе, счастливо унифицированном с помощью потребления, социальное неравенство лишь сглаживается до следующей неудовлетворённости в потреблении. Появление каждого нового продукта расценивается как решающее открытие, олицетворяющее надежду на скорое достижение обетованной земли полного потребления. Существует ведь мода на аристократические имена: иногда одним и тем же именем названы почти все лица одного поколения. Так и здесь: предмет, от которого все ждут чего-то невероятного, может стать объектом массового обожания, но только если он выпущен достаточно большим тиражом, чтобы стать широко потреблённым. Продукт становится престижным лишь тогда, когда его помещают в центр общественной жизни, нарекая конечной целью всего производства и развития. Но предмет, столь разрекламированный спектаклем, становится пошлым и ненужным, чуть только покупатель принесёт его домой из магазина и развернёт упаковку. Продукт слишком поздно открывает покупателю своё убожество, естественно наследуемое им от ничтожности своего производства. Но в этот момент уже новый предмет появится на прилавках и станет требовать признания и внимания к себе – новый предмет будет служить оправданием системы.

Покупая новый товар, человек на короткий срок впадает в иллюзию счастья. Эта иллюзия должна со временем разоблачить себя, замещаясь новой иллюзией: появится новый продукт, изменятся условия в производстве. Как в концентрированном, так и в распылённом спектакле, то, что ещё совсем недавно бесстыдно утверждало своё совершенство, закономерно выходит из обихода – лишь система остаётся неизменной. Так Сталина, словно вышедший из моды пиджак, после смерти охаивали ближайшие его сподвижники и прихлебатели. Каждая *новая ложь* рекламы – это также *признание* ее предыдущей лжи. Каждый раз, когда рушится очередной культ личности, оказывается, что вся общественная симфония была лишь иллюзией, и все те толпы, что единодушно славили и одобряли вождя, на деле были лишь скоплением не питающих никаких иллюзий, замкнутых одиночек.

То, что спектакль обозначает как вечное – основано на изменении, и должно изменяться вместе с основанием. Спектакль абсолютно догматичен, но в то же время, не может установить никакой жесткой догмы. Спектакль – крайне подвижная и динамичная структура, движение является для него естественным состоянием, хотя оно и противоречит его собственным устремлениям.

Спектакль провозглашает видимое единство, однако классовое разделение никуда не исчезает – да и как оно может исчезнуть, когда на нём основывается капиталистический способ производства! То, что обязывает трудящихся участвовать в построении мира, также и отчуждает их от этого мира. То, что связывает людей независимо от их локальных и национальных различий, одновременно и отдаляет их друг от друга. То, что призывает к торжеству рационального, на деле содействует иррациональности иерархической эксплуатации и подавлению. То, на чём основывается власть в обществе, обуславливает и его конкретную *несвободу*.

## Глава 4

# Пролетариат как субъект и представление

*Одинаковые для всех права на пользование благами и удобствами этого мира, развенчание всех авторитетов, отрицание любых моральных ограничений – вот под какими лозунгами произошло восстание 18 марта, и именно эти лозунги привели к союзу крамольных организаций, обеспечивших его армией сторонников.*

*Парламентское расследование о восстании 18 марта.*

С тех пор, как буржуазия захватила рычаги управления экономикой, в обществе возникла новая сила, способная воздействовать на условия существования общества. После политического оформления победы буржуазии, действие этой силы можно увидеть воочию. Развитие производительных сил разрушает отжившие производственные отношения и «пускает в пляс любые окаменелые порядки», самонадеянно встающие у него на пути. Всё то, что некогда считалось абсолютным, отныне становится достоянием истории.

С того самого момента, когда человек оказался вовлечённым в исторический процесс и был вынужден трудиться и сражаться ради этого процесса, он обнаруживает, что обязан чётко осознавать своё место в мире и разбираться в общественных отношениях. История не имеет иного объекта, кроме её непосредственного участника, хотя бессознательное, метафизическое восприятие текущей исторической эпохи и склонно видеть в качестве главного объекта истории развитие производства. *Субъектом истории может стать лишь человек самосозидающий, являющийся господином и обладателем собственного мира, собственной истории, и осознающий правила своей игры.*

Классовая борьба в *революционную эпоху* началась вместе с возникновением буржуазии и развивалась одновременно с диалектикой, *историческим мышлением*, которое не ограничивалось простым объяснением мира, но настаивало на его изменении, решительно выступая против любого отчуждения.

Гегель *интерпретировал* не мир, а *преобразование* мира. Но так как он *лишь интерпретировал* преобразование, Гегель был *лишь философским* завершением философии. Он хотел понять, каким образом мир *творит сам себя*. Однако историческое мышление появилось слишком поздно и могло лишь констатировать сложившуюся ситуацию *post festum*. Таким образом, оно преодолевает отчуждение лишь в мышлении. Парадоксальная идея о том, что суждение о действительности зависит от исторического момента, а также, что окончательное открытие подобного суждения будет означать конец истории, вытекает из того обстоятельства, что мыслитель эпохи буржуазных революций XVII и XVIII веков своей философией старался лишь *оправдать* достижения этих революций. «Подобно философии буржуазных революций, она отражает не сам процесс революции, а её итог. В этом смысле она является философией не революции, но реставрации» (Карл Корш, «Тезисы о Гегеле и революции»). В конце концов, Гегель «прославлял сущее», то есть в последний раз проделал работу философа, однако сущее он воспринимал, ни много, ни мало, как всю полноту исторического процесса. Фактически, была сохранена *внешняя* позиция мышления, что можно было скрыть лишь посредством отождествления мышления с предварительным проектом Духа – абсолютного героя, который творит то, что хочет, и хочет, что творит, и чьё воплощение совпадает с его истинной сутью. Таким образом, эта философия, преодолеваемая историческим мышлением, может теперь сколько угодно славить свой мир, отрицая его, считать историю уже завершившимся процессом, и закрыть заседание того единственного трибунала, где мог быть вынесен приговор истине.

Действия и само существование пролетариата подтверждают то, что историческое мышление не забыто. Изобличение неправильности *вывода* одновременно служит подтверждением правильности метода.

Историческое мышление можно спасти, лишь сделав его мышлением практическим. Одновременно с этой задачей пролетариата как революционного класса должно стать сознательное оперирование всей полнотой реальности данного мира. Все теоретические течения революционного рабочего движения произошли из критики гегельянства, и в этом участвовал не только Маркс, но также и Бакунин, и Штирнер.

Нельзя отделять теорию Маркса от гегельянского метода, и отрицать её тесную связь с революционным характером этой теории, её истинностью. Однако именно поэтому связь между ними была проигнорирована или воспринята ошибочно, или же, ко всему прочему, обличалась как слабость марксистского учения. Бернштейн в «Проблемах социализма и задачах социал-демократии» замечательно показал связь диалектического метода и исторической *предвзятости*, негодуя по поводу малонаучных предсказаний в Манифесте 1847 года о неизбежности пролетарской революции в Германии: «Это историческое самовнушение было настолько ошибочным, что даже заядлые политические мечтатели вряд ли смогли бы его повторить. И осталось бы непонятным, как его мог допустить Маркс, уже тогда основательно изучавший экономику, если не усматривать в этом самовнушении остатки гегелевской диалектики противоречия, от которых Маркс, равно как и Энгельс, так и не смогли себя освободить. Это было для него особенно роковым во времена всеобщего смятения».

*Отрицание*, осуществляемое Марксом ради «сохранения посредством преодоления» мышления буржуазных революций, не просто состоит в том, чтобы банально заменить материалистическим развитием производственных сил движение гегелевского Духа, стремящегося к воссоединению с самим собой во времени, ибо его объективизация сродни отчуждению, а исторические раны на нём не оставляют шрамов. История, ставшая реальной, больше не имеет конца. Маркс также отказался от *внешней* позиции Гегеля по отношению к происходящему, а также от *созерцания* какой бы то ни было внешней, божественной силы. Отныне теория должна знать лишь то, что входит в область её применения. И, напротив, в современном обществе экономическое движение принято рассматривать именно с точки зрения *неотрицаемого* наследия *недиалектической* части гегелевского поиска замкнутой системы: этот взгляд на экономику утратил понятийное измерение, ему больше не нужно оправдывать себя каким-то гегельянством, ибо он принимает экономику лишь как бессознательное, механическое развитие, господствующее над миром. Проект Маркса – это проект осознанной истории. Количественное, возникающее при слепом, чисто экономическом развитии производительных сил, должно впоследствии превратиться в историческое качественное. *Критика политической экономии* венчает собой эпоху *неосознанного исторического развития*: «Из всех орудий труда самым совершенным является сам революционный класс».

Рациональное осознание того, какие на самом деле силы действуют в обществе, тесно связывает теорию Маркса с научной мыслью. Но в своей основе теория Маркса находится *превыше* научной мысли, последняя сохраняется в ней, лишь будучи преодоленной: вопрос стоит о понимании *борьбы*, а не *законов*. «Нам известна только одна наука – наука истории» («Немецкая идеология»).

Буржуазная эпоха, стремящаяся дать истории научное обоснование, пренебрегает тем обстоятельством, что эта наука должна, прежде всего, исторически основываться на экономике. И наоборот, история напрямую зависит от экономики только потому, что является *экономической историей*. То, в какой мере научные исследователи смогли недооценить роль истории в экономике – глобального процесса, способного изменять собственную базу научных предпосылок – показывает нам тщетность уверений некоторых социалистов, которые якобы установили точную периодичность кризисов. Однако с тех пор как государственное вмешательство позволило компенсировать последствия кризисов, подобные рассуждения обнаружили в этом шатком равновесии окончательную экономическую гармонию. Таким образом, проект преодоления экономики, проект сознательного управления историей, должен познать и свести к себе все общественные науки, но сам он ни под каким предлогом не может быть *научным*. Точка зрения о том, что можно контролировать современную историю через научное познание, не является революционной – она остаётся *буржуазной*.

Хотя утопические течения социализма исторически и основаны на критике существующей социальной организации, они являются не более чем утопическими, но не в силу того, что они якобы отрицают науку, а в той мере, в какой они отвергают историю – и как реально существующую борьбу, и как движение времени в неизменном совершенстве их образа счастливого общества. Они не отрицают науку, наоборот, мыслители-утописты целиком находились под властью научного мышления предшествующих столетий. Они стремились лишь к завершению общей рациональной системы: не считая при этом себя за безоружных пророков, ведь они были уверены в том, что научное доказательство подействует на общество. В случае сен-симонизма они верили даже в то, что наука может захватить власть. «Как они хотят заполучить посредством борьбы то, что должно быть доказано?» – спрашивает Зомбарт. Научная концепция утопистов не учитывала, что различные социальные группы имеют свои интересы в существующей ситуации, а значит, не видела ложного сознания, вызванного определённой позицией группы в обществе, и средств, используемых этими группами для самоутверждения. Следовательно, такая концепция даже не достигает уровня науки, которая ориентируется, прежде всего, на *социальный заказ*, требующий, чтобы её можно было не только признать, но и изучить. Социалисты-утописты остались узниками *научного способа изложения истины*, они воспринимали истину лишь как абстрактный образ, причём, образ устаревший, сформировавшийся на давно прошедших стадиях развития общества. Как отмечал Сорель, утописты надеялись открыть и наглядно объяснить законы общества по образцу *астрономии*. Гармония, намеченная ими как цель, враждебна истории и являет собой попытку применить в рамках общества такую науку, которая бы наименее зависела от истории. Эта гармония стремится к признанию с такой экспериментальной невинностью, будто она новая физика Ньютона, а постоянно утверждаемый ею счастливый итог «играет в их общественной науке такую же роль, что и инерция в механике» («Материалы для теории пролетариата»).

Ещё при жизни Маркса детерминистски-научная сторона его учения оказалась как раз той брешью, через которую процесс «идеологизации» проник в теоретическое наследие, завещанное рабочему движению. Рождение на свет субъекта истории до поры до времени откладывается, и причиной этому служит экономика – историческая наука *par excellence*, однако этим она и подписывает себе смертный приговор, своё будущее отрицание. Однако вне поля зрения теории оказывается революционная практика – единственно возможная форма этого отрицания. Таким образом, нам остаётся лишь терпеливо продолжать изучение экономического развития и с гегельянским спокойствием воспринимать то, что все наши прошлые усилия почивли на «кладбище благих намерений». Вдруг открывается, что, согласно науке о революциях, *сознание приходит всегда слишком рано*, и ему ещё надо учить. «История показала, что мы, да и все мыслившие подобно нам, были не правы. Она ясно дала понять, что состояние экономического развития на европейском континенте в то время ещё не было достаточно зрелым...» – будет вынужден признаться Энгельс в 1895 году. Всю свою жизнь Маркс старался сохранить цельность своей теории, но её *изложение* было вынесено на враждебную территорию господствующей мысли и на ней расплылось в критику частных дисциплин, главным образом, в критику основополагающей науки буржуазного общества – политэкономии. Именно такой искажённый вид теории и приняли за её окончательный вариант, который впоследствии и нарекли «марксизмом».

Недостатки теории Маркса автоматически перекочевали и в революционную борьбу пролетариата его эпохи. В 1848 году немецкий рабочий класс не решился на перманентную революцию, Коммуна была изолирована и разгромлена. Революционная теория тогда ещё не получила своего полного воплощения. И сам факт того, что Маркс вдруг решил уточнять и защищать её чисто академической, уединённой работой в Британском Музее, уже подразумевало некий изъян в самой теории. Как раз те научные тезисы о будущем развитии рабочего класса и об его организации, выдвинутые им в тот период, в дальнейшем окажутся помехой для пролетарского сознания.

Все теоретические промахи в содержании и в форме изложения *научной* защиты пролетарской революции могут привести к отождествлению пролетариата с буржуазией *с точки зрения революционного захвата власти.*

Тенденцией обосновывать на *повторении* прошлого опыта научное доказательство закономерности захвата власти пролетариатом Маркс затуманивает, начиная с самого «Манифеста», своё собственное историческое мышление, заставляет себя придерживаться *линейной* схемы развития способов производства как следствия классовой борьбы, которая может закончиться «революционным преобразованием общества в целом, либо взаимным уничтожением борющихся классов». Но в обозреваемом прошлом, как подчеркивает Маркс, правда, по другому поводу, «азиатский способ производства» не смогли расшатать никакие классовые столкновения, так же как крепостные никогда не побеждали феодалов, а в античности, восставшие рабы – свободных граждан. Линейная схема упускает из виду тот факт, что *буржуазия является единственным победившим революционным классом*, одновременно с тем – единственным классом, для которого развитие экономики стало причиной и следствием его господства над обществом. Подобное упрощение также привело Маркса к отрицанию экономической роли государства в управлении классовым обществом. И если растущая буржуазия, казалось, освобождала экономику от влияния государства, то только в той мере, в которой само прежнее государство было орудием классового подавления в *государственной экономике*. В средние века, благодаря ослаблению государства, чьи силы подорвала феодальная раздробленность, создались предпосылки для будущего единоличного экономического господства буржуазии. Но современное государство, начавшее поддерживать развитие буржуазии через политику меркантилизма, в конце концов, «laisser faire, laisser passer», стало *её государством*, и, впоследствии, единственной властью, способной на плановое регулирование *экономического процесса*. Маркс, однако, под именем *бонапартизма* сумел описать прототип модели современной государственной бюрократии, этого слияния государства и капитала, которая под видом «общественной силы, призванной для обслуживания нужд общества, устанавливает национальную власть капитала над трудом». Здесь буржуазия отказывается от всякой исторической жизни, включая экономическую, избирая «обречённость на то же политическое небытие, что и все остальные классы». Здесь уже заложены социально-политические основы современного спектакля,

притворно определяющего пролетариат как единственного претендента на историческую жизнь.

По теории Маркса существует только два беспримесных класса – буржуазия и пролетариат, вот основной вывод из его «Капитала». Оба они являются революционными классами, хотя и оказавшимися в разных условиях: буржуазная революция уже произошла, а революция пролетарская – ещё только готовится как проект, основанный на предыдущей революции, но отличающийся от неё качественно. Тот, кто отрицает *оригинальность* исторической роли буржуазии, может также потерять из виду и оригинальность пролетарского проекта, который ничего не сможет достичь, пока не выступит под собственным знаменем, не осознает «громкость своих замыслов». Буржуазия пришла к власти потому, что была классом развивающейся экономики. Пролетариат же может прийти к власти, только став *классом сознания*. Рост производительных сил не может этого гарантировать, даже если из-за него будет постоянно возрастать экспроприация. Даже якобинский метод захвата власти не подходит для пролетариата. Ни одна *идеология* не сумеет заставить пролетариат выдать свои частные цели за общие, потому что пролетариату не нужна какая-то фрагментарная частная реальность, пускай бы даже она была его собственной.

Даже если Маркс в определённый период своего участия в борьбе пролетариата слишком уж рассчитывал на научное предвидение, и даже создал интеллектуальную основу для иллюзий экономизма, известно, что сам он на эти иллюзии не поддавался. В широко известном письме от 7 декабря 1867 года, сопровождавшем статью, где он сам критикует «Капитал», и которую Энгельс позже должен был передать в газеты под видом статьи оппонента, Маркс ясно обозначил ограниченность своей теории: «...тенденция автора к субъективности, возможно, продиктованная ему политическими пристрастиями и его личным прошлым; то, как он представляет себе и другим окончательные результаты современного движения, общественного процесса, не имеет ничего общего с его же анализом современности». Итак, Маркс, обличая самого себя в «тенденциозных выводах» своего объективно анализа и, иронизируя словом «возможно» во влиянии на себя ненаучных пристрастий, в то же время демонстрирует, что так оно и было на самом деле.

В самой исторической борьбе требуется осуществить слияние познания и действия, так, чтобы каждое из них подтверждало истинность другого. Формирование пролетарского класса как субъекта означает не только то, что он должен организовать революционную борьбу, но и то, что он обязан мобилизовать и организовать общество во время революционной ситуации: уже тогда должны существовать на практике условия для *сознательности*; тогда и только тогда теория практики подтвердится и станет практической теорией. Однако именно этот центральный вопрос организации менее всего был разработан революционной теорией в эпоху зарождения рабочего движения, то есть тогда, когда эта теория не обладала ещё целостным *характером*, проистекавшим из исторического мышления. Этот вопрос был поставлен позже, для превращения этой теории в целостную историческую практику. Но всё же это самое *непродуманное* место этой теории, ибо оно допускает заимствование у буржуазной революции государственных и иерархических методов воздействия. Те формы организации рабочего движения, которые отказались от единой теории, в свою очередь, лишь препятствовали развитию этой теории, расщепляя её на различные, частные формы познания. Предав целостное историческое мышление, это идеологическое отчуждение от теории уже не может более различать практических подтверждений этого мышления, даже тогда, когда подобное подтверждение исходит из спонтанных выступлений пролетариата; эта ересь может лишь потворствовать подавлению подобных выступлений и стиранию всякой памяти о них. Однако подобные исторические формы, возникшие в борьбе, как раз и являются той практической средой, которая придаёт теории истинность. Они являются насущной потребностью для теории, но потребностью не сформулированной теоретически. *Советы* не были теоретическим открытием; тем не менее, их практическое существование уже доказывало теоретическую правоту Интернационала.

Первые успехи в борьбе позволили Интернационалу избавиться от пут влияния господствующей идеологии, которые тогда ещё присутствовали. Однако последующие поражения и репрессии уже выдвинули на первый план конфликт между двумя концепциями пролетарской революции. Впрочем, обе эти концепции содержали *авторитарное* измерение, из-за чего задача самоосвобождения рабочего класса была отложена под сукно. Непримируемая ссора между марксистами и бакунинистами затрагивала два основных аспекта: власть в революционном обществе и организация современного рабочего движения, причём при переходе от одного аспекта к другому, противники менялись концепциями. Бакунин не соглашался с иллюзорной возможностью отмены классового строения общества с помощью авторитарного использования государственной власти, предвидя восстановление господствующего бюрократического класса и диктатуру наиболее компетентных или тех, кого будут считать таковыми. Маркс же считал, что растущее число экономических противоречий, одновременно с демократическим просвещением рабочих, низведёт роль пролетарского государства до временного этапа привыкания к новым общественным отношениям. Он уличал Бакунина и его сторонников в том, что они создали исключительно авторитарную элиту подполья, которая сознательно ставила себя выше Интернационала и создала сумасбродный план навязывания обществу диктатуры «наиболее революционных» или тех, кто захочет себя считать таковыми. И действительно, Бакунин вербовал своих сторонников именно для такой перспективы: «Невидимые штурманы посреди народной бури, мы должны руководить ею, но не конкретной видимой властью, а через коллективную диктатуру всех ее союзников. Диктатуру без титулов, без знаков отличий, без официальных прав, диктатуру тем более мощную, что она будет лишена внешней видимости власти». Так выглядело противостояние двух идеологий рабочей революции; следует признать, что каждая из них содержала в себе конструктивную критику, но, утрачивая единство исторического мышления, обе они скатывались в сторону идеологического авторитаризма. Сильные организации, такие как Немецкая социал-демократическая партия или Иберийская анархистская федерация, преданно служили той или иной из этих двух идеологий, но в любом случае, результат их действия весьма отличался от ожидаемого.

Одновременно сильной и слабой стороной анархистского движения является то обстоятельство, что они считают пролетарскую революцию возможной в любой момент (их же претензии на индивидуальную борьбу просто смехотворны). От исторического мышления современной классовой борьбы коллективистский анархизм оставляет только выводы, и его постоянная потребность в этих выводах приводит к намеренному пренебрежению методами. Поэтому анархистская критика *политической борьбы* остаётся абстрактной, тогда как результат экономической борьбы, по их мнению, может быть достигнут по единому мановению руки – в результате всеобщей забастовки или восстания. У анархистов есть *идеал* для его претворения в жизнь. Они *легкомысленно* отрицают в своей *идеологии* классы и государство, то есть все общественные условия, которые выдвигает идеология разделения. По сути, это *идеология чистой свободы*, она уравнивает всех и вся и не приемлет никакого исторического зла. Эта точка зрения, которая, в общем-то, сумела привлечь к себе если не всех, то очень многих, и привела к тому, что концепцию отказа от существующей жизни, а также от специализации, разделения и отчуждения ради смутного идеала жизни абсолютной и возвышенной, приписали в заслуги именно анархизму. Но именно это желание угодить всем, расписав яркими красками ещё не существующее будущее, привело анархистов к следующей, хорошо заметной непоследовательности в их действиях. На каждом выступлении анархисты лишь повторяли вновь и вновь одну и ту же заученную формулу, всеобъемлющее заключение, ибо они с самого начала отождествляли его с конечной целью всего движения. Поэтому в 1873 году, покидая Юрскую Федерацию, Бакунин напишет: «За последние девять лет в недрах Интернационала расплодилось столько идей по спасению мира, будто эти идеи могут спасти его сами по себе. Теперь я брошу вызов любому, кто захочет изобрести ещё одну такую идею. Время для идей кончилось, настало время для решительных действий». Несомненно, концепция того, что идеи должны воплощаться на практике, уже существует в историческом мышлении пролетариата, но она лишается исторической почвы хотя бы потому, что полагает, будто адекватные формы этого перехода к действию уже найдены и не нуждаются в исправлении.

Анархисты, которые явно не желают слиться со всем остальным рабочим движением, считая себя идеологически более убеждёнными, в дальнейшем воспроизведут это разделение ролей уже внутри своей организации, создав в ней условия для неформального господства пропагандистов и защитников своей идеологии – специалистов, в общем-то, посредственных: вся их интеллектуальная деятельность сводится к повторению нескольких заученных истин. В самой организации идеологическое почтение к единодушию в принятии решений привело, прежде всего, к неконтролируемой власти этих *знатоков свободы*; поэтому революционный анархизм ожидал такого же единодушия и от освобождённого народа, причём хотел добиться его теми же средствами. В результате, не принимая предложений меньшинства по поводу текущей борьбы и отказываясь считаться с массами, анархисты добились лишь раскола внутри собственных рядов. Именно это и привело к неспособности анархистов вообще принимать какие-либо решения, что прекрасно иллюстрируют примеры бесчисленных анархистских мятежей в Испании: они были слишком ограничены по размаху и подавлялись на местном уровне.

Весь подлинный анархизм строится на иллюзии близости неминуемой революции, которая, свершившись в одно мгновение, докажет правоту идеологии и методов практической организации, производных от идеологии. И на самом деле, в 1936 году анархизм привёл к социальной революции и к самой, что ни на есть, радикальной пролетарской власти. Но нужно отметить, что тогда сигналом к всеобщему восстанию стал мятеж в армии. Однако в связи с тем, что революция не смогла победить в течение первых нескольких дней (это было вызвано тем, что войска генерала Франко контролировали половину страны и получали мощную поддержку извне, в то время как международное пролетарское движение уже было разгромлено, а также тем, что в самом республиканском лагере имелись буржуазные силы и конкурирующие между собой рабочие партии), организованное анархистское движение показало себя неспособным увеличить или хотя бы защитить промежуточные победы революции. Его признанные вожди стали либо министрами, либо заложниками буржуазного государства, которое предало революцию и проиграло гражданскую войну.

«Ортодоксальный марксизм» Второго Интернационала являлся научной идеологией социалистической революции, которая считала доказательством своей правоты объективные процессы, происходившие в экономике, а также всеобщее признание необходимости воспитания рабочего класса при помощи организации. Эта идеология заново открывает характерную для утопического социализма уверенность в педагогическом доказательстве, но теперь она добавляет к нему *созерцательную* установку по отношению к ходу истории. Впрочем, теперь эта установка не относится ни к гегельянскому измерению всеобщей истории, ни к неподвижному образу вселенной, который имел место в утопической критике (особенно у Фурье). Это научная установка смогла лишь реанимировать симметрию этического выбора между добром и злом, и именно из неё вырастают нелепые рассуждения Гильфердинга, в которых он заявляет, что признание необходимости социализма не даёт никакого «указания на практические меры, которые следует предпринять. Так как одно дело – признать необходимость, и совсем другое – поставить себя на службу этой необходимости» (Финансовый капитал). Для Маркса и для революционного пролетариата всеобщее историческое мышление нисколько не отличалось от практических мер, которые требовалось предпринять, и те, кто этого не понимал, просто-напросто становились жертвами собственных практических мер.

Идеология организаций социал-демократического толка наделила властью *профессоров*, воспитывавших рабочий класс, и выработала такую форму организации, которая бы наиболее способствовала этому пассивному воспитанию. Во II Интернационале позиция социалистов в экономических и политических прениях всегда была предельно жёсткой, но при этом, совершенно *не критической*. Они провозглашали *революционную иллюзию*, но в соответствии с откровенно *реформистской* практикой. Таким образом, революционная идеология была уничтожена амбициями её проповедников. Тот факт, что депутаты и журналисты держались особняком по отношению к общему движению, лишь побуждал интеллектуалов, некогда вышедших из буржуазной среды, вернуться к своему прошлому. Даже тех, кто когда-то были простыми рабочими, профсоюзная бюрократия превращала в бесчувственных брокеров, выставлявших на продажу труд и продававших его как товар, по выгодной цене. Но из-за того, что их деятельность в чужих глазах всё ещё сохраняла на себе оттенок революционности, капитализм пока ещё не был в состоянии *воспринимать экономически* этот реформизм, хотя политически – уже мог, благодаря их мирной, законопослушной агитации. Подобное лицемерие оправдывалось их наукой, но всякий раз уличалось во лжи историей.

Выявить суть этого противоречия можно было на примере социал-демократа Бернштейна: он был наиболее далёк от политической идеологии и открыто пользовался методологией буржуазной науки. Также о наличии этого противоречия свидетельствовало реформистское движение английских рабочих, обходившееся вообще без революционной идеологии. Однако его наиболее ясно продемонстрировала сама история. Бернштейн, хотя и сам не был чужд иллюзий, дал чётко понять, что кризис капиталистического производства не позволит социалистам прийти к власти и не даст им провести «законопослушную» революцию. Несмотря на то, что эпоха тяжёлых общественных потрясений, наступившая вместе с Первой Мировой войной, всячески способствовала формированию самосознания, она дважды показала, что социал-демократическая иерархия не смогла революционно воспитать немецких рабочих и, тем более, сделать из них *теоретиков*: в первый раз, когда большинство партии открыто поддержало империалистическую войну, и затем, уже после поражения, подавило восстание спартаковцев. Тем более, Эберт, между прочим, бывший рабочий, ещё и верил в греховность, признаваясь, что ненавидит революцию «как грех». Он же впоследствии стал предтечей перерождения *социализма в представление*, которое впоследствии стало абсолютным врагом для русского пролетариата и его союзников. А главное, он чётко сформулировал программу для новой формы отчуждения: «Социализм – это значит много работать».

Ленин как марксистский деятель был всего-навсего последовательным и верным каутскианцем: он применил революционную идеологию «ортодоксального марксизма» в русских условиях, где не существовало почвы для политики реформизма, повсеместно проводимой II Интернационалом. Внешнее руководство пролетариатом, осуществляемое крайне дисциплинированной и законспирированной партией, подчинённой интеллектуалам, превратившихся в «профессиональных революционеров», становится профессией, о создании которой в то время господствующий строй не мог и мечтать (дело в том, что царизм хоть и являлся капиталистическим режимом, позволить себе внешнее руководство пролетариатом он не мог, ибо его кроме революционной партии могла обеспечить только развитая буржуазная власть, которой в царской России не было). Впоследствии данное занятие расширит сферу своего влияния и превратится в профессию абсолютного контроля над обществом.

Можно сказать, что вместе с войной и связанным с ней крахом социал-демократического интернационала, авторитарный идеологический радикализм большевиков распространился по всему свету. Кровавый конец демократических иллюзий рабочего движения превратил весь мир в Россию, и большевизм, пробивший первую брешь в мировом капиталистическом хозяйстве в самый разгар мирового кризиса, предложил пролетариату всех стран свою иерархическую и идеологическую модель, предложил ему «говорить по-русски» с господствующим классом. Ленин упрекал марксизм Второго Интернационала не за то, что он был революционной *идеологией*, а за то, что он перестал ею быть.

В тот самый исторический момент, когда большевизм триумфально утверждал себя в России, а социал-демократия победоносно боролась за *старый мир*, возникает новый порядок вещей, который и обеспечивает современное господство спектакля: *рабочий класс, переродившийся в представление*, решительно противопоставил себя самому рабочему классу.

«Во всех предыдущих революциях – писала Роза Люксембург в «Rote Fahne» 21 декабря 1918 года, – противоборствующие стороны выходили на бой лицом к лицу: класс против класса, программа против программы. В нынешней же революции, защитники и верные слуги старого порядка выступают не под вывеской правящих классов, а под флагом «социал-демократической партии». Если бы главный вопрос революции был поставлен честно и откровенно: капитализм или социализм – огромным массам пролетариата не пришлось бы колебаться и сомневаться». Вот так, всего за несколько дней до своего окончательного разгрома радикальное крыло немецкого пролетариата открыло для себя новые условия, появление которых было вызвано предшествующим развитием (чему в огромной степени поспособствовало перерождение пролетариата в представление): отныне существует *спектакль* – организация, призванная на защиту существующего порядка; отныне *видимость* господствует в обществе, и теперь уже никакой «главный вопрос» не может быть поставлен «честно и откровенно». Революционное перерождение пролетариата в представление стало сразу и главным следствием, и основным результатом всеобщей фальсификации общества.

Большевистская модель организации пролетариата основывалась на двух основных предпосылках: на отсталости России, и на отказе рабочего движения развитых стран от революционной борьбы. Но именно отсталость вызвала контрреволюционное перерождение данной организации, впрочем, следует отметить, что таковой она была изначально. Продолжающееся отступление европейских рабочих масс перед лицом *Nis Rhodus hic salta* в период 1918-1920 годов, отступление, потворствовавшее насильственному уничтожению радикально настроенного пролетарского меньшинства, только благоприятствовало становлению большевизма, и позволило ему заявить о себе, как о единственно возможном исходе для всего рабочего движения. Установление государственной монополии на представление и защиту власти рабочих позволило партии большевиков оправдать себя, но одновременно вынудило её снять все маски и *стать тем, чем она и была*: партией собственников пролетариата, исключившей прежние формы собственности.

В течение целых 20 лет напряжённых дебатов, все русские организации социал-демократического толка взвешивали каждое условие, способное помочь в уничтожении самодержавия: среди них была и слабость буржуазии, и давление крестьянского меньшинства, и главное, решающее условие – наличие хоть и малого числом, зато организованного и боевитого пролетариата. Но, как известно, все эти дебаты были прекращены, чуть только власть захватила революционная бюрократия, которая, овладев государственной властью, тут же навязала обществу новое классовое господство – такого исхода, понятно, никто не мог ожидать. Однако надо сказать, что демократическая революция была тоже невозможна, лозунг «демократической диктатуры рабочих и крестьян» был лишён смысла: власть Советов не смогла бы выстоять одновременно против кулаков, белогвардейщины, интервенции и против собственной репрезентации, которая явилась бы в форме рабочей партии, абсолютно господствовавшей в государстве и экономике, а также подчинившей себе свободу выражения, а позже, и мысли. Единственно верной для стран, в которых буржуазия отстала в своём развитии, стала теория перманентной революции Троцкого и Парвуса, к которой в апреле 1917 года неявно присоединился и Ленин. Но эта теория стала верной лишь по причине вмешательства неизвестного доселе фактора: утверждения классовой власти бюрократии. Среди большевистских лидеров, Ленин решительнее всех высказывался за сосредоточение диктаторской власти в руках высших представителей идеологии. И Ленин всегда оказывался прав по отношению к своим противникам, потому что отстаивал давно уже сделанный выбор, а именно, власть абсолютного меньшинства. Иначе было и нельзя, ведь при демократии власть пришлось бы сначала отнять у крестьян, ради того, чтобы *сохранить государство*, потом пришлось бы отказать и рабочим, что далее привело бы к отказу в ней коммунистическим лидерам профсоюзов, и так далее, вплоть до самой партийной верхушки. На X Съезде, когда Кронштадтский Совет уже был разгромлен и погребён под горами клеветы, Ленин сформулировал заключение, направленное против левацких бюрократов из «Рабочей оппозиции» (логику этого заключения Сталин впоследствии обобщит до логики свершившегося раздела мира): «Либо – здесь, либо – там, с винтовкой, а не с оппозицией... оппозиции

теперь конец, крышка, хватит с нас оппозиций!»

После подавления кронштадского мятежа, бюрократия, по сути, стала единоличным собственником при *государственном капитализме*. Она сумела упрочить свою власть изнутри благодаря временному союзу с крестьянством (НЭП), и снаружи – путём внедрения рабочих в бюрократические партии III Интернационала, в качестве поддержки для русской дипломатии. Их задача была – саботировать остальное революционное движение и, тем самым, помогать буржуазным правительствам, на чью помощь русская бюрократия рассчитывала в международной политике. Тому примеры: режим Гоминьдана в Китае 1925-1927 гг., Народный фронт в Испании и Франции и т.д. Затем бюрократическое общество продолжило усиление собственной власти, учинив террор по отношению крестьянству, ради того, чтобы осуществить самое жестокое в истории первоначальное накопление капитала. Индустриализация при Сталине сорвала последнюю маску с *бюрократии*: теперь очевидно, что она сохраняет всевластие экономики, и спасает саму суть рыночного общества: труд как товар. Тем самым подтверждается, что самодостаточная, автономная экономика настолько опутала своими сетями общество, что способна ради своих нужд восстанавливать в нём классовое господство. Иными словами, буржуазия создала автономную экономику, которая, в случае сохранения этой автономии, может обходиться без самой буржуазии. Тоталитарная бюрократия не является «последним классом собственников в истории», как верно отметил Бруно Рицци, для товарной экономики она является лишь *заместителем правящего класса*. Отсутствующая капиталистическая частная собственность заменяется здесь упрощённым, менее дифференцированным суррогатом, но и тот *концентрирует* в своей собственности бюрократический класс. Данная недоразвитая форма правящего класса является также выражением общей экономической отсталости; для неё нет иной перспективы, кроме как постоянно навёрстывать своё отставание. Именно рабочая партия, организованная по буржуазному принципу общественного разделения, и обеспечила государственными кадрами эту вспомогательную форму господствующего класса. Находясь в сталинской тюрьме, Антон Цылига отмечал: «Выходит, что вопросы технической организации являются социальными» («Ленин и революция»).

Ленинизм был величайшей волюнтаристической попыткой воплощения революционной идеологии, которая подразумевает *возвращение отчуждённого* и решительное изменение мира. Однако, Сталинизм всем наглядно показал, что *возвращать* отчуждённое никто даже и не собирался. На этом этапе идеология уже является не оружием, а целью. Ложь, более не опровергаемая, становится безумием. Окружающая действительность, да и сама цель, идеология, растворяется в тоталитарной пропаганде: всё, что она утверждает, следует принимать за истину. Это местечковый, примитивный спектакль, но роль его в развитии мирового спектакля, тем не менее, огромна. Идеология, получившая в нём своё воплощение, не преобразовала мир, подобно капитализму достигшему стадии избыточности, – она просто полицейским образом трансформировала *восприятие*.

Власть тоталитарно-идеологического класса означает также и власть перевернутого мира: чем она сильнее, тем настойчивее она утверждает, будто её не существует, вся сила её служит, прежде всего, для утверждения этого небытия. «Слуги народа» – только в этом и проявляется вся скромность бюрократии, ибо формальное небытие должно также совпадать с *pes plus ultra* исторического развития, чьему существованию перевернутый мир и обязан своей нерушимостью. Где бы ни появилась бюрократия – везде она должна оставаться классом, *невидимым* для сознания, в результате этого, безумной становится вся общественная жизнь. Из этого противоречия и вытекает социальная организация абсолютной лжи.

Сталинизм был царством ужаса и для самого бюрократического класса. Террор, основанный на власти этого класса, неизбежно должен был поразить и сам класс, так как он не обладал признанным статусом класса собственников, и у него не было каких-либо юридических гарантий, которые бы он мог распространить на всех своих членов. Его действительная собственность остаётся скрытой от посторонних глаз, бюрократия становится собственником лишь с помощью ложного сознания. В то же время ложное сознание поддерживает свою абсолютную власть лишь через абсолютный террор, подлинных мотивов которого уже никто и не помнит. Члены находящегося у власти бюрократического класса имеют право лишь на коллективное обладание обществом, как соучастники царящего вокруг обмана: они обязаны играть роль пролетариата, руководящего социалистическим обществом, и быть хорошими актёрами, убедительно разыгрывающими идеологическую нелояльность. Но эффективное участие в этом ложном бытии требует, чтобы его рассматривали как подлинное участие. Бюрократ не сможет в одиночку удержать своё право на власть: если он будет доказывать, что является социалистическим пролетарием, он уже не будет бюрократом, но и утверждать, что является бюрократом, он тоже не может, потому что бюрократии официально не существует. Поэтому любой бюрократ целиком и полностью зависит от *главного идеологического гаранта*, который допускает коллективное участие в «социалистической власти» *всех бюрократов, которых он ещё не уничтожил*. И если все решения принимают бюрократы, то сплочённость их собственного класса может обеспечить только одна личность, сосредоточившая в своих руках всю их террористическую мощь. Именно в этой личности следует искать первопричину лжи, коренящейся *во власти*: его переменчивый курс утверждается как неоспоримое постоянство. Сталин безапелляционно решал, кому быть бюрократом-собственником, то есть, кого следует называть «пролетарием у власти», а кого – «предателем на содержании Микадо и Уолл-стрита». Бюрократические атомы соединялись и обретали свои права только в личности Сталина. Поэтому Сталин был властителем мира, абсолютной личностью, для которого уже не существовало высшего разума. «Властитель мира обладает действительным сознанием того, чем

он является: универсальной властью над действительностью, воплощённой в кровавом насилии, направленном против Я его подданных». Он одновременно и власть, определяющая незыблемость государства, и *мощь, взрывающая его устои.*

Когда идеология, обладая абсолютной властью, становится абсолютной и превращается из частного познания в тоталитарную ложь, историческое мышление уничтожается настолько основательно, что сама история, даже на эмпирическом уровне, перестаёт существовать. Тоталитарное бюрократическое общество живёт в вечном настоящем, где все находятся под пристальным надзором полиции. Сформулированный ещё Наполеоном принцип «всецело править энергией воспоминаний» воплотился в современной манипуляции прошлым, где подтасовываются не только толкования или смыслы, но даже сами факты. Но ценой освобождения от всякой исторической реальности является утрата рациональности, которая столь необходима для *исторического* общества, капитализма. Известно, чего стоило русской экономике научное приложение обезумевшей идеологии, взять хотя бы самонадеянное невежество Лысенко. Это вызвано тем, что управляющая индустриальным обществом тоталитарная бюрократия зажата между своей потребностью в рациональности и отказом от рационального – в этом и коренится её главный недостаток по сравнению с обычным капиталистическим развитием. Наряду с тем, что бюрократия хуже решает вопросы сельского хозяйства, она также уступает капитализму и в индустриальном производстве, которое планируется свыше на основе поступающих снизу нереальных сведений, ведь ложь и там и там возведена в принцип.

В промежуток между двумя мировыми войнами революционное рабочее движение было полностью уничтожено совместными усилиями сталинской бюрократии и фашистского тоталитаризма, который позаимствовал форму организации у уже испробованной в России тоталитарной модели. Фашизм являлся чрезвычайным средством защиты буржуазной экономики, находящейся под угрозой кризиса и ниспровержения пролетариатом. Фашизм – это объявленное в капиталистическом обществе *осадное положение*, благодаря которому это общество спасается и совершает срочную рационализацию, позволяя государству в массовом порядке вмешиваться в его управление. Но сама такая рационализация уже была отягощена чудовищной нерациональностью своих средств. Несмотря на то, что фашизм был направлен на защиту консервативной буржуазной идеологии и её основных ценностей (семья, собственность, моральный порядок, нация), объединяя тем самым мелкую буржуазию и безработных, обезумевших от кризиса и разочарованных бессилием социалистической революции, сам фашизм по существу не являлся идеологией. Он был тем, за что себя и выдавал: насильственным возрождением *мифа*, требующим принадлежности к сообществу, где основополагающими являются архаичные псевдоценности: раса, кровь, вождь. Фашизм – это *технически оснащённый архаизм*. Его разложившийся *эрзац* мифа и воспроизводится в контексте спектакля наисовременнейшими средствами психологической обработки и создания иллюзий. Таким образом, он является важным фактором в формировании современного спектакля, а его участие в уничтожении прежнего рабочего движения превратило его в одну из основополагающих сил современного общества. Однако, в связи с тем, что фашизм оказался также и наиболее *расточительной* формой поддержания капиталистического порядка, ему пришлось покинуть авансцену, где главные роли по-прежнему играют капиталистические государства; его заменили более рациональными и устойчивыми формами этого порядка.

Чуть только русской бюрократии удалось, наконец, отделаться от последних следов буржуазной собственности, которые препятствовали её господству над экономикой, не давая присвоить всю собственность себе, и вдобавок, мешали добиться признания великих держав на международной арене, она возжелала спокойно наслаждаться властью в своём уголке земного шара. Для этого она решила ликвидировать последнюю вышестоящую инстанцию – и разоблачает сталинизм, ею же порождённый. Но такое разоблачение само остаётся сталинистским и самоуправным, его причины никто не собирается объяснять, а концепцию всё время изменяют, модифицируют, ибо *коренящуюся в нём идеологическая ложь раскрывать нельзя*. Таким образом, бюрократия не в силах провести либеральные реформы ни в сфере культуры, ни в сфере политики, ибо само её существование как класса зависит от идеологической монополии, так как именно эта монополия служит единственным видом её собственности. Несомненно, идеология уже утратила страсть к позитивному самоутверждению, но и то, что сохраняется в её безразличной банальности, всё ещё способно подавить любую конкуренцию и держать скованной всю полноту мысли. Только поэтому бюрократия так привязана к идеологии и с такой страстью её пропагандирует, несмотря даже на то, что в эту идеологию давно уже никто не верит. То, что некогда было террором, отныне служит поводом для шуток и насмешек, однако никто и не вздумал бы смеяться, если б за спиной не маячил тот же самый террор, от которого так хотелось бы освободиться. И именно в тот момент, когда бюрократия хочет продемонстрировать своё превосходство над миром капитализма, она признаёт себя его *бедной родственницей*. Подобно тому, как действительная история опровергает претензии бюрократии, а её невежество откровенно противоречит её научным притязаниям, её соперничество с буржуазией в плане создания товарного изобилия заранее обречено на провал, ибо такое изобилие само несёт в себе *скрытую идеологию* и обычно нераздельно связано с постоянно увеличивающейся свободой иллюзорного выбора, псевдо-свободой, которая остаётся несовместимой с бюрократической идеологией.

На данный момент претензии бюрократии на идеологическую собственность рушатся уже в мировом масштабе. Власть, изначально нацеленная на интернациональность, но установившаяся лишь национально, теперь должна признать, что более не может поддерживать свою ложную сплочённость за пределами каждой из национальных границ. Неравное экономическое развитие и соперничество различных типов бюрократии, которым удалось вывести свой «социализм» за пределы одной страны, привело к непримиримому и тотальному противостоянию лжи русской и лжи китайской. Отныне каждая бюрократия, находящаяся у власти, или каждая тоталитарная партия, пока ещё только претендующая на власть (там, где после периода сталинизма местный рабочий класс остался без «поводыря»), должна следовать своим собственным путём. Повсеместный распад бюрократического союза ещё более усугубляется внутренним сопротивлением, впервые проявившимся во время рабочего восстания в Восточном Берлине, когда бюрократии было противопоставлено требование «правительства металлургов», и однажды уже пришедшем к власти в виде рабочих Советов в Венгрии. Однако эта тенденция, при ближайшем рассмотрении, является крайне неблагоприятным фактором для развития современного капиталистического общества. Теперь буржуазия теряет своего противника, который, тем не менее, поддерживал её объективно, иллюзорно сосредоточивая в себе образ отрицания существующего порядка. Разделение труда между спектаклями подходит к концу, когда псевдореволюционность, в свою очередь разделяется. Уничтожение рабочего движения произошло благодаря концентрированному спектаклю, который сам уже обречён.

Сегодня у ленинизма не осталось иных последователей, кроме различных троцкистских течений, в которых до сих упорно отождествляют пролетарский проект с иерархической организацией идеологии, несмотря даже на опыт, показавший всю плачевность подобных попыток. Та дистанция, которая отделяет троцкизм от революционной критики современного общества, почему-то влечёт за собой его приверженность к средствам, уже проявивших свою негодность в реальной борьбе. Вплоть до 1927 года Троцкий не прекращал тесных контактов с высшей бюрократией, стремясь полностью подчинить её себе, чтобы затем возобновить активную большевистскую политику на внешней арене (известно, что в ту пору, пытаясь скрыть знаменитое «Завещание Ленина», он дошёл даже до того, что оклеветал своего сторонника Макса Истмена, это завещание обнаружившего). Именно за это своё намерение Троцкий и был осуждён, ибо в то время бюрократия уже осознала себя как контрреволюционный класс, и поэтому и во внешней политике была вынуждена взять контрреволюционный вектор, во имя *будто бы проводимой* у себя революции. Последующая борьба Троцкого за IV Интернационал имела такой же непоследовательный характер. Всю свою жизнь он отказывался признавать бюрократию как отдельный класс, так как во время второй русской революции он стал безусловным сторонником большевистской формы организации. Лукач в 1923 году назвал эту форму наконец-то обнаруженной связкой между теорией и практикой, при которой рабочие уже не являются простыми «зрителями» того, что происходит в их организации, а сознательно участвуют в её деятельности и за неё переживают. Что же, Лукач приписал в заслуги большевикам то, чего у них и в помине *не было*. Помимо своей кропотливой теоретической деятельности, Лукач был ещё и идеологом, говорящим от лица власти, той самой власти, которая самым вопиющим образом отрывалась от пролетарского движения, причём сам он верил, заставлял себя верить в то, что он целиком растворяется в этой власти, что *он сам – власть*. Но затем он узнал, с какой лёгкостью эта власть отрекается и избавляется от своих приспешников, и тогда он разоблачает сам себя, причём самым постыднейшим и карикатурным образом: он кардинально меняет свои взгляды и превращается в *противоположность* самого себя и всего того,

что утверждал в своей книге «История и классовое сознание». Личность Лукача лучше всех подтверждает правило, справедливое для всех интеллектуалов этого века: величие и справедливость *почитаемых* ими идей, в точности отражает подлость и *ничтожность* этих интеллектуалов. Впрочем, Ленин и не питал подобных иллюзий насчёт своей деятельности, ибо понимал, что «политическая партия не может устраивать экзамен своим членам, чтобы выяснить существуют ли противоречия между их философией и программой партии». Та, действительно существующая партия, чей романтический портрет совершенно некстати нарисовал Лукач, была сплочена лишь для одной особой и конкретной цели: захватить власть в государстве.

Неоленинистская иллюзия современного троцкизма встречает отпор и с лёгкостью опровергается реалиями развитого капиталистического общества: как буржуазного, так и бюрократического, поэтому естественно, что она активнее всего пытается утвердиться в формально независимых «слаборазвитых» странах. Дело в том, что там местные правящие классы сознательно называют государственный бюрократический социализм *просто идеологией экономического развития*. Надо заметить, что в этих странах состав правящих классов является крайне разношёрстным, обычно это буржуазно-бюрократическая смесь. Вся их игра на международной арене ограничивается лавированием между двумя полюсами существующей капиталистической власти, а также между их идеологическими компромиссами (в том числе исламизмом) – это лишь подтверждает гибридную сущность их социальной базы, и понуждает выбросить из идеологического социализма всё, за исключением его полицейской роли. Бюрократия может сформироваться, возглавив национально-освободительную борьбу и аграрные бунты крестьян; и именно поэтому, после захвата власти в Китае, она много раз пыталась применить сталинскую модель индустриализации даже в менее развитых странах, чем Россия в 1917 году. Бюрократия, способная провести индустриализацию, может сформироваться из мелкой буржуазии или из военных кадров, уже захвативших власть, как это было в Египте. В иных случаях, бюрократия, сложившаяся во время войны как полугосударственное руководство, будет пытаться найти компромисс в конфликте, чтобы затем слиться со слабой местной буржуазией – так было в Алжире, в конце войны за независимость. Наконец, в бывших чёрных африканских колониях, которые до сих пор остаются зависимыми от американской либо европейской буржуазии, местная буржуазия складывается (чаще всего на основе власти племенных вождей) через *обладание государством*. Там иностранный империализм остаётся истинным хозяином экономики, и отдаёт *компрадорам* в собственность государственную власть в обмен на беспрепятственный вывоз из страны сырья – в этом случае государство является независимым от собственного населения, но не от империализма. Здесь речь идёт о некоей искусственной буржуазии, которая не накапливает, а попросту *транжирует* капитал,

полученный от прибавочной стоимости местного труда, а также от иностранных субсидий покровительствующих государств и монополий. Очевидная неспособность этих буржуазных классов выполнять свою нормальную экономическую функцию приводит к тому, что против неё поднимается бюрократия, более или менее приспособленная к местным условиям и желающая захватить достояние этой буржуазии. Однако успех бюрократии в проекте индустриализации изначально содержит в себе предпосылки её последующего поражения, ведь, накапливая капитал, она также сосредотачивает и пролетариат, тем самым, содействуя появлению прежде отсутствовавшего внутреннего протестного движения – отрицания.

Все эти обстоятельства привнесли новые условия в классовую борьбу, в результате чего пролетариат индустриально развитых стран окончательно утратил всякое желание быть самостоятельным, более того, он оставил даже надежду на такую перспективу, однако сам пролетариат не исчез. Его не уничтожили. Он решительно отстаивает право на своё существование даже при интенсивном процессе отчуждения в современном капитализме, ибо пролетариат – это неисчислимое большинство трудящихся, потерявших всякую способность распоряжаться собственной жизнью, но которые, *осознав это*, вновь находят себя как пролетариат, как вынужденное работать на общество отрицание. Пролетариат объективно усиливается, по мере того как исчезает крестьянство, и логика заводского труда начинает распространяться также на значительную часть сферы услуг и интеллектуальных профессий. *Субъективно* этот пролетариат ещё далёк от своего практического классового сознания, причём не только в среде «белых воротничков» – служащих, но и в среде наёмных рабочих, ещё только обнаруживающих беспомощность и ложь политики. Но рано или поздно пролетариат понимает, что не только его отчуждённый труд способствует постоянному укреплению капиталистического общества, но и его представительства, созданные им некогда для собственного раскрепощения, как то: профсоюзы, партии и даже государственная власть, – все они рано или поздно становятся на рельсы коллаборационизма. Из этого он извлекает конкретный исторический опыт, который доказывает, что пролетариат является единственным классом, противостоящим любому постоянному отчуждению и любому разделению властей. Он несёт с собой *революцию, которая не может позволить чему-либо остаться вне себя*, а также требование постоянного господства настоящего над прошлым и всеобъемлющую критику отчуждения – на основании этого он и должен найти для себя подходящую форму действия. Никакие количественные подачки, никакие иллюзии иерархической интеграции не смогут его умиловить, ибо пролетариат обнаруживает себя отнюдь не когда терпит какую-то отдельную несправедливость по отношению к себе, и даже не когда *сражается против этой отдельно взятой несправедливости*. Он не способен осознать себя, даже сражаясь против множества несправедливостей; только в *абсолютной*

*несправедливости* – в том, что его отбросили на обочину жизни, может возникнуть искомое классовое сознание.

Всё больше и больше фактов отрицания, протеста множится в наиболее экономически развитых странах, несмотря даже на то, что спектакль старательно пытается их скрыть или исказить. Однако по ним уже можно сделать вывод о начале новой эпохи: после провала первой попытки рабочего восстания, *рухнуло само капиталистическое изобилие*. Когда антипрофсоюзная борьба западных рабочих подавляется, прежде всего, самими профсоюзами, когда бунтарские молодёжные движения оформляют свой первый, пока ещё размытый и нечёткий протест, в котором, тем не менее, уже выражен их отказ от лживой политики, профанированного искусства и мелочной повседневной жизни, – мы начинаем различать формы новой спонтанной борьбы, которая пока ещё начинается под маской *преступности*. Это грозное предзнаменование второго пролетарского штурма классового общества. И когда павшие бойцы этой всё ещё деморализованной армии вновь появятся на поле боя, обстановка на котором кардинально изменилась, и в тоже время, осталась прежней, они последуют за новым «генералом Луддом», который на этот раз направит их на уничтожение *машин дозволенного потребления*.

«Наконец-то найдена политическая форма, при которой может осуществиться экономическое освобождение труда». В XX веке данная форма обрела, наконец, своё чёткое воплощение в Советах революционных рабочих, сосредоточивающих в себе все законодательные и исполнительные функции и образующих федерацию с помощью выборных делегатов, которые ответственны перед рядовыми членами, и которых можно отозвать в любой момент. Их фактическое существование доселе было лишь пробой пера, намёткой на будущее, однако Советы немедленно встретили решительный отпор и были разгромлены различными силами, защищающими классовое общество, причём в их числе зачастую оказывалось и их собственное ложное сознание. Паннекук справедливо обвинял власть рабочих Советов в том, что они чаще «ставят проблемы», чем предлагают решения. Но эта власть и создана для того, чтобы проблемы пролетарской революции обретали здесь свои истинные решения. В них воссоединяются объективные предпосылки для возникновения исторического сознания, ведь именно Советы позволяют осуществить *активную* коммуникацию, где больше не будет места специализации, иерархии и отчуждению, и где условия существования становятся «условиями для единства». Именно в Советах, в своей борьбе против созерцания, пролетариат может стать субъектом, так как его сознание равнозначно практической организации, которая и создаётся, потому что само сознание неразрывно связано с последовательным вторжением в историю.

При власти Советов, которая обязана восторжествовать в мировом масштабе, пролетарское движение станет своим собственным продуктом, а этот продукт – собственным производителем. Пролетарское движение – это самоцель. Ибо только в нём отрицается отрицание жизни, осуществляемое спектаклем.

Появление Советов выявило высшую суть пролетарского движения в первой четверти этого века, однако её никто не увидел, а если увидел – то уж точно извратил, ибо она исчезла вместе с остальным рабочим движением, которое тогда было отвергнуто и уничтожено. Но сегодня, в новую эпоху пролетарской критики, эта истина снова становится видимой в качестве единственного неопроверженного положения побеждённого движения. Историческое сознание может существовать лишь в рамках этой истины, и оно признаёт эту истину, но уже не на периферии отживающего свой век, а в самом центре грядущего.

Революционная организация, существующая до власти Советов (ей ещё только предстоит в борьбе обрести истинную форму), по всем вышеперечисленным причинам уже понимает, что *не представляет* класса. И ей нужно осознать себя, ни много ни мало, как отчуждение от *мира отчуждения*.

Революционная организация – это последовательное выражение теории практической деятельности, которая по ходу своего становления практической теорией, вступает в неодностороннюю коммуникацию с различными видами практической борьбы. Её собственная практическая деятельность и заключается в управлении коммуникацией и последовательностью этой борьбы. В революционную эпоху разложения всеобщего отчуждения эта организация сама должна признать своё разложение как организации, основанная на отчуждении.

Революционная организация должна быть ничем иным, как единой и всесторонней критикой современного общества, а именно, критикой, никогда не вступающей в компромисс ни с одной формой власти, основанной на отчуждении, ни в одном уголке земного шара. Она должна быть повсеместно провозглашаемой критикой против любых форм отчуждённой общественной жизни. В борьбе революционной организации против классового общества орудиями являются ничто иное, как *сущности* самих противоборствующих сторон, так как революционная организация не может воспроизводить в себе особенности господствующего общества: иерархию и отчуждение. Она должна постоянно бороться против собственного искажения в царящем вокруг спектакле. У всеобщей демократии революционной организации должно быть только одно ограничение – все её члены должны добровольно признать и присвоить себе всю последовательность её критики, причём эту последовательность должны ещё доказать критическая теория и соотношение между теорией и практической деятельностью.

По мере увеличения капиталистического отчуждения на всех уровнях общественной жизни, рабочим становится всё труднее и труднее осознать и обозначить свою собственную нищету, и таким образом, перед ними появляется альтернатива: *либо встать на борьбу против всей тотальности своей нищеты, либо превратиться в ничто*. Революционная организация должна, наконец, осознать, что не может больше бороться с отчуждением в отчуждённых формах.

Пролетарская революция никогда не произойдёт, если не будет выполнено следующее необходимое условие: теория в качестве способа постижения человеческой деятельности должна быть признана и пережита массами. Ей нужно, чтобы рабочие стали диалектиками и использовали это мышление в своей практической деятельности. Таким образом, она требует от *простых людей* куда большего, нежели буржуазная революция – от тех профессионалов, которым было поручено её осуществление; ведь то частичное идеологическое сознание, выстроенное частью представителей буржуазного класса, ориентировалось на центральную часть общественной жизни, на экономику, где этот класс *уже находился у власти*. Получается, что само превращение классового общества в общество спектакля, в зрелищную организацию небытия, ведёт революционный проект к тому, что бы он выдал *наружу* свою *сущность*.

На данный момент революционная теория является заклятым врагом любой революционной идеологии *и прекрасно это осознаёт.*

## Глава 5

# Время и история

*О, джентельмены, жизнь коротка... И если уж мы живем, то живём, чтобы ходить по головам королей.*

*У. Шекспир, «Генрих IV» часть I.*

Человек – «существо отрицающее, он *есть* лишь в той степени, в которой отрицает Бытие». Человек – это время. Постигание человеком собственной природы неразрывно связано с пониманием развития вселенной. «История сама по себе является важной частью естественной истории, истории превращения природы в человека» (Маркс). И наоборот, эта «естественная история» по-настоящему существует лишь благодаря истории человеческой, той единственной её части, которая схватывает всю полноту истории, – подобно современному телескопу, чей чуткий объектив улавливает *во времени* процесс разбегания туманностей на самых далёких окраинах вселенной. История существовала всегда, но далеко не всё время – в своей исторической форме. Процесс овременения человека посредством общества начинает соответствовать очеловечиванию времени. Бессознательное течение времени заявляет о себе и *становится истинным* в историческом сознании.

Собственно ход истории, пускай *ещё неявно*, начинается в медленном и неосязаемом формировании «действительной природы человека», той «природы, что рождается внутри истории человечества, благодаря созидающему воздействию общества». Но даже общество, владеющее техникой и языком, то есть уже являющееся продуктом собственной истории, все равно осознаёт своё бытие лишь как вечное настоящее. В таком обществе любое познание, сохранённое в памяти старейших его членов, всегда передаётся *живущим*. Ни смерть, ни размножение не понимаются здесь как законы времени. Время остаётся неподвижным, подобно замкнутому пространству. Однако и более сложное общество, которое, наконец, приходит к осознанию времени, всё равно продолжает его отрицать, ибо во времени оно видит не то, что проживается, а то, что возвращается. Государственное общество организует время в соответствии со своим непосредственным ощущением природы, по модели *циклического* времени.

Однако, например, кочевники уже давно живут по законам циклического времени, ибо, куда бы они ни пришли в своих бесконечных скитаниях, они всё равно найдут всю ту же степь, всю ту же слабую растительность под ногами. Именно потому Гегель отмечает, что «странствие кочевников является лишь формальным, ибо оно не выходит за пределы однообразных пространств». Когда же общество оседает в какой-то определённой местности, оно неизбежно придаёт ей особенный смысл, путём обустройства этой территории, но в результате оказывается лишь запертой внутри неё. Раньше возвращение в старое кочевье означало также и возврат времени, что обязывало повторить на старом месте те же самые ритуалы и ту же самую последовательность действий. Переход же от пасторального кочевничества к оседлому земледелию упраздняет прежнюю ленивую и бессодержательную свободу и служит началом для тяжёлого, кропотливого труда. Вообще, земледелие, подчинённое ритму смен времён года, является главной основой для окончательного провозглашения циклического времени. Вечность *изначально* присуща ему: как бы не лютовала зима, лето всё равно возвращается. Такое общество живёт незабываемой традицией, мифом. Миф – это тоталитарная и целостная мыслительная структура, которая оправдывает существующий строй эфемерным космическим порядком. Как мы видим, система уже тогда возникла в рамках общества.

В обществе, разделённом на классы, кроме процесса присвоения продуктов человеческого труда возникает также общественное присвоение времени. Власть, утверждающая своё господство над нищетой общества циклического времени – класс, организующий общественный труд и присваивающий себе его ограниченную прибавочную стоимость, также присваивает себе и *временную прибавочную стоимость*, возникающую благодаря его организации общественного времени. Только этот класс можно назвать истинно живущим, ибо для него время необратимо. Всё богатство, которое только может сконцентрировать в себе власть и потратить его на пышный, гедонистический праздник своего существования, также используется для растраты *исторического времени на поверхности общества*. Только собственники исторической прибавочной стоимости обладают знанием сути переживаемых событий, и только они могут получать удовольствие от этих событий. Здесь время не организуется всем обществом, всем миром, как должно было бы, ведь именно на дне общественной жизни создаются материальные богатства. Нет, здесь время протекает над обществом, не затрагивая его. Это время приключений и войн, в котором хозяева циклического общества счастливо проплывают по своей личной истории. Но в равной степени это ещё и время столкновений с чужими сообществами, в результате которого может быть нарушен сам социальный строй. Таким образом, история проходит над людьми, как чёрная грозозная туча, как нечто чуждое, чего люди хотели бы избежать и от чего считали себя надёжно укрытыми. Но именно благодаря этим раскатами грома, всполохам на небе истории, в человеке пробуждается позабытое, первобытное чувство *страха*.

Само по себе циклическое время является бесконфликтным. Однако в самом его корне уже заложен конфликт: ведь история, прежде всего, борется за то, чтобы стать историей практической деятельности господ. История является необратимой только на поверхности; однако её ход обеспечивается именно тем необратимым временем, что течёт на дне циклического общества.

Существуют так называемые гомеостатические, «застывшие общества» – в них историческая активность практически отсутствует, они стараются сохранить всякое, даже самое шаткое равновесие в противостоянии со своими внутренними и внешними врагами: природной средой и другими обществами. К каким только средствам не прибегают эти общества ради примирения! – всё это показывает, насколько гибкой и сговорчивой может быть человеческая натура; однако увидеть это может лишь сторонний наблюдатель, этнограф, *вернувшийся* из нашего исторического времени. Структура таких обществ отрицает даже само понятие «перемен». Здесь господствует конформизм – он считается единственным человеческим достоинством, и, пожалуй, только страх одичать, опуститься до уровня животных, ещё как-то ограничивает людей в их стремлении к косности. В таких обществах люди должны остаться такими же, чтобы не утратить человеческое лицо.

Появление политической власти совпало с последними великими техническими революциями: такими, например, как изобретение плавки железа. Она зародилась на пороге бескризисной эпохи, которая не будет испытывать глубоких потрясений вплоть до появления промышленности, но следует отметить, что одновременно со всем этим началось разложение кровнородственных связей. С тех пор смена поколений перестаёт быть простым естественным циклом и начинает перекликаться с чрезвычайно важным событием: сменой властей. Отныне необратимое время принадлежит исключительно властителю. Главной мерой необратимого времени теперь будут служить династии, а основным оружием – письменность. Именно в письменности язык обретает полную независимость как посредник между сознаниями. Но эта независимость также означает и самостоятельность власти, основанной на отчуждении, как главного связующего звена в обществе. Одновременно с письменностью появляется новое сознание, чьим носителем и передатчиком уже не является живой человек; это – *безличная память*, память управления обществом. «Письмена – это мысли государства, архивы – его память» (Новалис).

Летописи являются идеальным выражением для необратимого времени власти, а также незаменимым инструментом, поддерживающим в определённом русле целенаправленный, вероломный ход времени. Однако это чёткое русло постоянно размывает: от великих империй и их летописей подчас остаётся лишь пепел – это и приводит к забвению циклического, неизменного времени, в котором до сих пор живут крестьянские массы. *Собственники истории* придали времени определённый смысл: направление, одновременно являющееся и значением. Однако эта история разворачивается где-то в стороне: правители воюют между собой, делят добычу, мирятся и создают союзы, однако низов общества эти, казалось бы, грандиозные и значительные события никак не касаются, ибо они остаются отделёнными от обыденной действительности. Вот почему история Восточных империй сводится для нас к истории религии: их хронологии ничего не донесли до нас кроме самостоятельной истории окутывавших их иллюзий. Господа, под покровительством мифа *сделавшие историю своей частной собственностью*, прежде всего, владеют ей в качестве иллюзии: в Китае и в Египте они долгое время утверждали за собой монополию на бессмертные души; все их знаменитые ранние династии являются не более чем мифами о прошлом. Но обладание иллюзиями в то время является единственно возможным способом обладания всей историей, как общей, так и частной – историей господ. Усиление власти господ над историей происходит параллельно с вульгаризацией обладания иллюзией и мифом. Всё это происходит по той простой причине, что по мере того, как господа возлагали на себя обязанность обеспечивать посредством мифа постоянство циклического времени, сами они лишь освобождались от него, в чём можно убедиться на примере сезонных ритуалов китайских императоров.

Сухая, никем не разъясняемая хронология обожествлённой власти предпочитает, чтобы её подданные воспринимали эту историю лишь как претворение в жизнь каких-то смутных мифических заповедей. Однако она отнюдь не всесильна, её можно преодолеть и сделать сознательной историей, но для этого нужно, чтобы исторический процесс вовлёк в себя массы и был прожит ими. Отсюда возникает новый способ общения между теми, кто *признал в ближнем* обладателя исключительной, целостной и самобытной реальности, испытал на себе всё многообразие и красочность окружающего мира, и именно в эпоху такого осознания появится основной язык исторического общения. Те, для кого будет существовать необратимое время, откроют в нем одновременно и *достопамятное*, и подверженное *забвению*: «Геродот из Галикарнаса излагает здесь добытые им сведения, дабы время не уничтожило деяния людей...».

Суждение об истории неотделимо от суждения о власти. Древняя Греция была тем редким государством, где власть и её изменение обсуждалась и понималась – как демократия господ. Именно этим Греция и отличалась от деспотических государств, где власть давала отчёт только себе самой в своих действиях, предпочитая безысходно метаться из стороны в сторону в кромешной темноте, дабы никто не видел её беспомощности; это прекрасно иллюстрируют *дворцовые перевороты*, которые, даже, невзирая на их исход, никогда не обсуждались. Между тем, власть, распределённая по греческим полисам, проявлялась лишь в *растрате* общественной жизни, благоденствие которой поддерживалось подневольными классами, которые были полностью отчуждены от результата собственного труда. «Кто не работает – тот ест». В результате междоусобной борьбы греческих полисов за право эксплуатировать иноземные колонии отчуждение, ранее присутствовавшее лишь внутри общества, распространилось вовне. Древняя Греция, некогда мечтавшая о всемирной истории, так и не смогла ни объединиться перед угрозой вторжения, ни даже унифицировать календари среди своих независимых городов. В Греции историческое время стало сознательным, но ещё не осознало само себя.

Исчезновение богатых греческих городов неизбежно повлекло за собой упадок всей западной исторической мысли, однако реабилитации прежнего господства мифа, как ни странно, не произошло. Во вражде народов Средиземноморья, в формировании и падении Римской империи возникли *полуисторические религии*, ставшие решающими факторами для нового сознания времени, а также новыми доспехами для власти, основанной на отчуждении.

Монотеистические религии были компромиссом между мифом и историей, между циклическим временем, всё ещё доминировавшим в производстве, и временем необратимым, в котором сталкивались и перемешивались целые народы. Вышедшие от иудаизма религии являются абстрактным универсальным признанием необратимого времени, которое отныне становится демократичным, открытым для всех, но лишь в рамках иллюзии. Здесь время неумолимо приближается к своей последней точке, за которой уже не будет ничего, кроме «Царства Божьего». Но даже, несмотря на то, что эти религии возникли и утвердились на исторической почве – сами они всё равно остаются в непримиримой оппозиции по отношению к истории. Полуисторические религии устанавливают качественную точку для начала отсчёта времени: Рождество Христово, переселение Магомета, после чего необратимое время даёт отмашку флагом для гонки накопления, которое затем в исламе примет облик завоевания, а в реформационном христианстве – накопления капитала. Однако в религиозной мысли необратимое время превращается в некий *обратный отсчёт*: отныне все ждут Страшного Суда, после которого можно будет переселиться в новый, лучший мир. Вечность вышла из понятия о циклическом времени, но по отношению к нему сама она стоит особняком. Вечность умаляет необратимость времени, упраздняет историю в самой истории, становясь по ту сторону необратимого времени, превратившись в точку, в которое циклическое время вернулось и самоуничтожилось. Боссюэ скажет: «И через преходящее время мы входим в непрерывную вечность».

Средневековье – это недостроенный мир мифа, чьё завершение находилось вне самой эпохи. Этим завершением явился момент, в результате которого циклическое время, всё ещё регулировавшее основную часть производства, было окончательно подточено историей. Отныне необратимость времени можно, безусловно, распознать во всём: в старении организма, в представлении о жизни, как о бесконечном *странствии* по миру в тщетных поисках смысла; *пилигрим* – это человек, покинувший циклическое время, ради того чтобы стать символическим олицетворением каждого из нас. Историческая жизнь каждой личности до сих пор выражает себя в сфере власти, в участии в борьбе – ведущейся властью или за власть; однако необратимое время власти существует и распределяется между властителями в рамках направленного времени христианской эры, т.е. в мире, где *вера утверждается оружием*, и вся деятельность господ вращается вокруг доверия церкви и последующего оспаривания между собой этого доверия. Феодалное общество возникло в результате встречи «организационной структуры завоевательной армии в том виде, который она получила в ходе завоевания» и «производительных сил, обнаруженных в завоёванной стране» («Немецкая идеология»). Но так как у этих производительных сил была своя внутренняя организация, свой религиозный язык, с которым приходилось считаться, – власть над обществом пришлось делить между собой церкви и государству, причём последнее в свою очередь было расколото из-за запутанных отношений между сюзеренитетом и вассалитетом территориальных ленов и городских коммун. Во всём этом многообразии исторической жизни необратимое время втихомолку захватило глубины общества; в нём стала жить буржуазия в производстве товаров; а в основании и расширении городов, торговом освоении Земли (невиданным по размаху эксперименте, навсегда покончившим с мифической организацией космоса) – это время начало постепенно проявлять себя как основной результат скрытой работы эпохи, в то время как официальное великое историческое предприятие Средневековья потерпело крах вместе с крестовыми походами.

На закате Средневековья необратимое время, захватившее общество, воспринималось сознанием, всё ещё привязанным к древнему порядку, в форме одержимости смертью. Это меланхолия была вызвана гибелью последнего мира, где надёжность и незыблемость мифа ещё уравнивала историю; для этой меланхолии весь современный мир казался гнивающим и чудовищно пошлым. Грандиозные восстания крестьян в Европе, кроме всего прочего, были попыткой *ответа на историю*, насильственно вырвавшим их из пасторального сна, который раньше обеспечивало феодальное покровительство. Именно хилиастическая утопия *осуществления рая на земле* выводит на первый план то, что некогда стояло у истока полуисторической религии. Ведь первые христианские общины, как и иудейское мессианство, из которого они происходили, на все несчастья и беды эпохи отвечали ожиданием близящегося Царства Божьего и поэтому передавали элементы беспокойства и неповиновения античному обществу. Чуть только христианство стало делиться властью внутри своей империи, оно само добровольно начало развенчивать жалкие остатки своей веры как банальные предрассудки. Именно в этом и заключается смысл утверждения Августина, прототипа *одобрения* в современных идеологиях, согласно которому, существующая церковь и является, причём уже давно, тем самым желанным царством, о котором все говорят. Социальные бунты хилиастического крестьянства, прежде всего, ставят себе целью уничтожение этой церкви. Однако не стоит забывать, что хилиазм разворачивается в историческом мире, а не на территории мифа. Упования современных революционеров вовсе не являются наследием религиозной страстности хилиазма, как то утверждает Норман Кон в своих «Поисках тысячелетнего царства». Как раз наоборот, хилиазм, революционная классовая борьба, описанная языком религии, – является современной тенденцией в революционной борьбе, впрочем, ей всё ещё недостаёт *исторического сознания*. Хилиастам суждено было потерпеть поражение, потому что они не смогли распознать свои действия как революцию. То обстоятельство, что они, прежде чем приступить к активным действиям, ждали, пока Бог им подаст знак свыше, на деле оборачивалось тем, что восставшие крестьяне были вынуждены следовать за вождями, не

принадлежавшими их сословию. Крестьянский класс не смог добиться верного осознания того, как функционирует общество, и того, каким же образом следует вести собственную борьбу, потому что ему не хватало сплочённости в своих действиях и сознании, в результате чего крестьянство, вынуждено было выражать свои требования и вести войны, сообразуясь с фантазиями о земном рае.

Далее для исторической жизни наступает новый этап – Возрождение, реабилитировавшее Античность и обнаружившее в ней своё прошлое и свою правовую основу, но вместе с тем, радостно распрощавшееся с вечностью. Необратимое время эпохи Возрождения представляет собой бесконечное накопление знаний и исторического сознания, выросшего из опыта демократических коммун, а также сил, которые их уничтожили. Начиная с Макиавелли, рассуждения о десакрализованной власти будут превосходно описывать государство. В роскошной жизни итальянских городов, в искусстве и праздниках жизнь превращалась в наслаждение мимолётностью времени. Однако это наслаждение мимолётностью само было мимолётным наслаждением. Песня Лоренцо Медичи, которую Буркхардт считал выражением «самого духа Возрождения», является элегией, в которой этот недолгий праздник истории сам выносит себе неутешительный приговор: «Как юность прекрасна, но как скоро проходит она».

Постоянное стремление государства к монополизации исторической жизни, осуществляемое поначалу абсолютной монархией (временной формой, предваряющей собой полное торжество буржуазии), выставляет напоказ то, что называется необратимым временем буржуазии. Буржуазия неразрывно связана с *рабочим временем*, впервые освободившимся от оков циклического времени. С появлением буржуазии работа стала *трудом, преобразующим исторические условия*. Буржуазия – это первый господствующий класс, для которого труд стал стоимостью. И буржуазия, не признающая никаких привилегий, никаких богатств, если они, конечно же, не являются следствием эксплуатации труда, справедливо отождествила с трудом свою собственную ценность как господствующего класса, и превратила прогресс труда в свой собственный прогресс. Класс, накапливающий товары и капитал, непрерывно изменяет природу путём видоизменения труда, что получается благодаря усиленному стимулированию его производительности. Вся общественная жизнь отныне сосредоточена вокруг показной бедности двора и тусклого наряда государственной администрации, достигшей действительного мастерства в «королевском ремесле»; отныне утрачена всякая частная историческая свобода. Свобода необратимой временной деятельности феодалов окончательно исчерпалась в проигранных битвах Фронды и восстании шотландцев под руководством Чарльза-Эдуарда. Мир перевернулся в самой своей сути.

Победа буржуазии означает торжество *внутреннего исторического времени*, так как оно является временем экономического производства, которое постоянно, всесторонне преобразует общество. Пока аграрное производство остаётся основной деятельностью человека, циклическое время, всё ещё существующее в низших слоях общества, питает коалиционные силы *традиции*, сковывающие всеобщее движение. Впрочем, необратимое время буржуазной экономики успешно искореняет эти пережитки по всему миру. История, до сих пор казавшаяся лишь деятельностью отдельных представителей господствующего класса и поэтому писавшаяся как история событийная, отныне понимается как *всеобщее движение*, и всякая личность приносится в жертву этому жестокому движению. История, наконец, открывает свою собственную основу: политическую экономию, а значит, ей становится известно о своём бессознательном, однако все боятся пролить свет на это бессознательное, и оно и дальше остаётся таковым. Получается, что рыночная экономика демократизировала лишь это слепую предысторию, новый рок, над которым никто не властен.

История, утвердившая себя в самой сердцевине общества, похоже, начинает исчезать с его периферии. Триумф необратимого времени привёл, помимо прочего, к тому, что оно превратилось во *время вещей*; это было вызвано тем, что сообразное с законами рынка массовое производство вещей послужило главным оружием его победы. Получается, что именно *история* стала основным продуктом, который экономическое развитие перевело из разряда труднодоступной роскоши в разряд обыденного потребления, но так вышло, что эта история превратилась в историю абстрактного движения вещей, подмявшего под собой всякое качественное потребление жизни. И если раньше циклическое время всячески содействовало становлению исторического времени, проживаемого индивидами и группами, то господство необратимого времени производства стремится устранить это проживаемое время в рамках общества.

Итак, буржуазия заставила признать и навязала обществу необратимое историческое время, однако отказало ему в *использовании* этого времени. «История была, а теперь её нет», потому что классу собственников экономики, который уже не в состоянии порвать свои отношения с *экономической историей*, непосредственно угрожает всякое необратимое использование времени, и он всячески пытается его подавить. Господствующий класс складывается из *специалистов по обладанию вещами*, каковыми они становятся исключительно благодаря обладанию – именно поэтому этот класс обязан связать свою судьбу с поддержанием подобной овеществлённой истории, поддержанием новой неподвижности *внутри истории*. Попервоначально трудящийся, хотя он и находился на самом дне общества, не был материально чужд истории, ведь лишь благодаря ему общество развивалось необратимо. В выдвигаемом им требовании на *проживание* исторического времени, пролетариат обнаруживает точную и неизменную суть своего революционного проекта, и всякая попытка воплощения этого проекта в жизнь, пускай все они до сих пор не увенчались успехом, напоминает о возможности начала новой исторической жизни.

Необратимое время пришедшей к власти буржуазии тоже поначалу заявило о себе посредством утверждения нового календаря и новой точки начала летоисчисления – I года Республики. Но это безобразие продолжалось до тех пор, пока революционная идеология всеобщей свободы, сумевшая смести последние остатки мифической организации ценностей и всю традиционную регламентацию общества, не проявила желание облечься в римские тоги, иначе говоря, свести понятие свободы к *всеобщей свободе торговли*. В конце концов, рыночное общество обнаружило, что ему придётся восстанавливать былую пассивность, устои которого оно прежде так успешно расшатало ради установления собственного единоличного господства – оно снова «обретает в христианстве с его культом абстрактного человека <...> наиболее подходящее для себя религиозное дополнение» («Капитал»). И тогда буржуазия пошла на уступки этой религии: найденный компромисс касался также и представления времени. Буржуазия отказалась от собственного календаря, её необратимое время влилось в христианскую эру и продолжило её последовательность.

С развитием капитализма необратимое время *устанавливается и унифицируется в мировом масштабе*. Всемирная история становится реальностью, ибо весь мир включается в её временной процесс. Однако то, что история везде становится одинаковой, означает лишь отказ от истории в рамках самой истории. Именно время экономического производства, расчленённое на равные абстрактные промежутки, представляется нам *в виде дней*. Унифицированное необратимое время – это время *мирового рынка* и, соответственно, мирового спектакля.

Необратимое время производства является, прежде всего, мерой товаров. Следовательно, время, которое нынче официально и повсеместно утверждается как *единое общественное время*, на самом деле, всего лишь выражает чьи-то корыстные интересы и является *не более чем частным временем*.

## **Глава 6**

### **Зрелищное время**

*У нас нет ничего своего, кроме времени.  
Оно есть даже у тех, у кого нет крыши над  
головой.*

*Бальтасар Гарсиан, «Карманный оракул или  
наука благоразумия».*

Время производства (товарное время) состоит из бесконечного числа одинаковых промежутков. Оно является абстракцией необратимого времени, причём часы отмечают лишь количественное равенство его промежутков. По сути, такое время является меновым. Именно когда в обществе господствует товарное время, «время есть всё, человек – ничто, он всего-навсего каркас времени» («Нищета философии»). Такое обесценивание времени означает его отрицание как «пространства человеческого развития».

Всеобщее время человеческого не-развития существует также в своём побочном проявлении: *потребляемом времени*, которое входит в повседневную жизнь общества, определяемую производством, в виде *псевдоциклического времени*.

Псевдоциклическое время на самом деле является лишь доступной для потребления *вершиной айсберга* товарного времени производства. Оно обладает всеми его характерными чертами, а именно: наличием равноценных единиц обмена и тенденцией к уничтожению своей качественной составляющей. Но, будучи побочным продуктом того времени, которое предназначено для угнетения частной повседневной жизни и для утверждения этого угнетения, оно должно быть нагружено псевдоценностями и являться в виде вереницы якобы индивидуализированных и неповторимых событий.

Псевдоциклическое время является временем потребления текущего уровня экономического выживания, прибавочной стоимости выживания, при этом в повседневной жизни по-прежнему отсутствует выбор, по-прежнему имеются ограничения, но вызванные уже не естественным, природным порядком, а псевдоприродным – результатом разделения труда. Такое время *естественным* путём восстанавливает древний циклический ритм, который управлял выживанием доиндустриальных сообществ. Псевдоциклическое время как раз и зиждется на естественных основах циклического времени и создаёт новые похожие комбинации: день и ночь, еженедельный труд и отдых, повторение периодов отпусков и т.д.

Псевдоциклическим временем называется время, *преобразованное промышленностью*. Время, основывающееся на производстве товаров, само, в свою очередь, является потребляемым товаром, причём оно вбирает в себя всё то, что раньше, до крушения прежнего единого общества, различалась как частная жизнь, хозяйственная жизнь, политическая жизнь. Доходит до того, что всё потребляемое время современного общества становится сырьём для новых разнообразных продуктов, которые, будучи выставлены на рынок, заявляют о себе, ни много ни мало, как о новом расписании, согласно которому общество должно будет в дальнейшем проводить всё своё время. Как гласит «Капитал»: «Продукт, уже существующий в форме, делающей его пригодным для потребления, может, в свою очередь, стать первичным материалом для другого продукта».

В любом секторе производства, где удалось достигнуть значительных успехов, капитализм старается наладить продажу так называемых «полностью укомплектованных» блоков времени, каждый из которых представляет собой единый унифицированный товар, включающий в себя некоторое количество различных других товаров. Наиболее интенсивно сейчас развивается сфера услуг и развлечений, и именно поэтому там возникают такие формы оплаты как «всё включено». Это касается и покупки недвижимости, и мнимой смены обстановки, которую мы испытываем, отправляясь всем скопом в отпуска. Это касается и того, как мы подписываемся на культурное потребление и покупаем общение как таковое, посредством разнообразных «ток-шоу» и «встреч со звёздами». Однако не очевидно ли, что подобный зрелищный товар, которым нас потчует спектакль, имеет столь большой спрос лишь потому, что дефицитом стала сама соответствующая реальность!? Разве не ясно, что именно благодаря этому так увеличился спрос на различную бытовую технику, которую можно приобрести в кредит? – посмотрите хотя бы на полосы объявлений в газетах, не трудно убедиться, что такой вид предложений там доминирует!

Потребляемое псевдоциклическое время является зрелищным не только как время потребления образов (в узком смысле), но и даже шире: как образ потребления времени. Время потребления образов, т.е. среда обращения всех товаров, одновременно выступает и как некое поле, где всецело задействованы все методы спектакля, и как цель: некая парадигма, одинаковая форма для любого потребления. Известно, что современное общество везде стремится к выигрышу во времени, идёт ли речь о скорости транспортных средств или о приготовления супа из пакетиков; этой идеей постоянно потчуют население Соединённых Штатов, причём время, которое американец проводит за телевизором, уже достигает в среднем трёх-четырёх часов в сутки. В свою очередь, общественный образ потребления времени довлеет над периодом досуга и отпусков, иначе говоря, событий потребляемых *на расстоянии* и желанных только в период предварительного ожидания, подобно любому зрелищному товару. В данном случае товар открыто подаётся как событие реальной жизни, и из года в год мы ждём его циклического возвращения. Но даже в подобных событиях жизни, которые, казалось бы, мы можем лишь действительно проживать, спектакль вновь демонстрирует и воспроизводит себя, становясь даже ещё более интенсивным. То, что было представлено как действительная жизнь, на самом деле, разоблачает себя как жизнь ещё более *зрелищная*.

В нашу эпоху принято считать, что наконец-то, мол, вернулось время непрерывного праздника, но на самом деле нынешняя эпоха совершенно лишена каких бы то ни было праздников. То, что при циклическом времени называлось всеобщим соучастием в роскошной растрате жизни, стало невозможным для социума, лишённого всякой общности и роскоши. Все его вульгарные псевдо-праздники несут с собой лишь гнусную пародию на общение и раздачу подарков; даже когда им сопутствуют излишние экономические траты, они всё равно приводят лишь к разочарованию и горькому похмелью, которое затем компенсируется обещанием нового разочарования. В спектакле, чем ниже потребительная стоимость текущего времени выживания, тем выше цена, по которой его предлагают. Действительность времени оказалась замещённой *рекламой* времени.

Если потребление циклического времени в древних обществах соответствовало действительно циклическому труду в этих обществах, псевдоциклическое потребление при развитой экономики оказалось в противоречии с необратимым абстрактным временем её производства. Если циклическое время было временем неизменной иллюзии, проживаемой реально, зрелищное время является временем постоянно изменяющейся реальности, проживаемой иллюзорно.

Такого понятия как инновация, возникающего в процессе производства вещей, не существует для потребления, которое всегда остаётся повторением одного и того же, только в ещё больших объёмах. Именно потому, что мёртвый труд продолжает господствовать над живым трудом, во времени спектакля прошлое господствует над настоящим.

Ещё одной стороной проявления всеобщего дефицита исторической жизни является то, что частная жизнь всё ещё не имеет истории. Псевдособытия, посредством спектакля наваливающиеся всей своей массой на проинформированного о них индивида, на самом деле им не проживаются, и более того, просто теряются в общем потоке, ведь с каждым новым импульсом исходящим от спектакля одно псевдособытие моментально сменяется другим. Далее, получается, что всё, действительно переживаемое человеком, лишено какой бы то ни было связи с официальным необратимым временем общества, и тем более, находится в прямом противоречии с его псевдоциклическим потребляемым побочным продуктом. Это индивидуальное проживание разделённой, отчуждённой повседневной жизни лишено своего языка, своей концепции, у него нет критического подхода к собственному прошлому, которое невозможно запомнить. С ним нельзя никак связаться. Оно остаётся непонятым и забытым в угоду ложной памяти спектакля – памяти беспамятства.

Спектакль как современная социальная организация парализует историю и память, отказа от истории, утвердившаяся на основании исторического времени, представляет собой *ложное сознание времени*.

Предварительным условием для сведения трудящихся к положению «свободных» производителей и потребителей товарного времени являлась насильственная экспроприация их времени. Возвращение этого времени в рамках спектакля стало возможно лишь благодаря этой первичной потере.

В труде до сих пор сохраняется биологическая составляющая, и её ни в коем случае нельзя недооценивать; заключается она как в естественной смене циклов сна и бодрствования, так и в очевидности того, что индивидуальная жизнь протекает в необратимом времени. Однако получается, что как раз этой составляющей труда современное производство просто-напросто пренебрегает. Эти элементы не принимаются в расчёт победными планами развития производства и приносятся им в жертву, являясь, тем самым, выражением этой непрерывной победы. Сознание зрителя засосало в воронку фальшивого мироощущения, и теперь он уже не воспринимает жизнь ни как стремление к самореализации, ни как стремление к смерти. Тот, кто однажды уже отказался от потребления своей собственной жизни, уже не в состоянии допускать возможность своей смерти. Реклама страхования жизни внушает такому человеку то, что он будет сам виноват в своей смерти, если заранее не обеспечит нормальное функционирование системы после такой «невосполнимой экономической утраты». Реклама the American way of death, в свою очередь, настаивает на том, что система способна обеспечить подобные условия существования для большинства человеческих *видимостей* жизни. На всех фронтах рекламного наступления категорически запрещено стареть. Однако даже если бы для всех и каждого был выдуман некий «капитал молодости», его всё равно можно было использовать лишь посредственно, и он никогда бы не стал таким же устойчивым и накапливающимся, как финансовый капитал. Таким образом, социальное отсутствие смерти равнозначно социальному отсутствию жизни.

Время, как показал Гегель, проявляется в неизбежном отчуждении – это среда, где субъект реализует себя, себя же утрачивая, где он становится другим, ради того чтобы обрести своё истинное «Я». Однако для господствующего отчуждения верно как раз обратное: отчуждению здесь подвергается тот, кто производит *отчуждённую реальность*. Благодаря этому *всеобщему отчуждению* общество, похищающее у субъекта продукт его собственного труда, отделяет его, прежде всего, от его собственного времени. Это социальное отчуждение следует преодолеть, ибо оно мешает и не даёт насладиться всеми возможностями и опасностями отчуждения *проживаемого* времени.

На беспокойной поверхности созерцательного псевдоциклического времени то и дело возникают и вновь исчезают различные мнимые *модные* течения. Однако под ними всегда существует течение *большого стиля* эпохи, которое ориентировано на очевидную и тайную необходимость революции.

Естественная суть времени, иначе говоря, ощущение его протекания, станет подвластной человеку и обществу, только когда время будет существовать *ради человека*. Строгие законы человеческой деятельности, а также труд на разных стадиях его развития – вот, что до сих пор гуманизировало и одновременно дегуманизировало, как циклическое, так и отчуждённое необратимое время экономического производства. Революционный проект по реализации бесклассового общества, возведённый в принцип исторической жизни, является проектом по уничтожению всякой общественной меры времени в пользу игровой модели необратимого времени для индивидов и групп, модели, в которой дружно сосуществуют *множество времён, заключивших между собой вечный союз*. В сфере времени это называется программой по полномасштабному претворению в жизнь коммунизма, который, как известно, упраздняет «всё, что существует независимо от индивидов».

Миром уже завладела мечта о времени, сознанием которого мир должен обладать, чтобы действительно его прожить.

## Глава 7

# Обустройство территории

*И тот, кто станет властелином города, издавна привыкшего жить свободно, и пощадит его, пусть от города не ждет пощады, потому что там всегда сыщется повод для мятежей во имя свободы и своих старых порядков, которые ни за давностью времени, ни за какие благодеяния не забудутся никогда. Что для них ни делай, и как ни старайся, но если не изгнать и не рассеять его жителей, они ни за что не забудут ни названия своего города, ни свои обычаи...*

*Макиавелли, «Государь».*

Капиталистическое производство унифицировало пространство, теперь оно уже не граничит ни с какими внешними по отношению к нему обществами. Эта унификация является одновременно и экстенсивным, и интенсивным процессом опощления и *обезличивания*. Накопление товаров массового производства в абстрактном пространстве рынка привело к разрушению всех региональных и таможенных барьеров, а также корпоративных ограничений средневековья, которые обеспечивали прежде *качество* ремесленного производства; теперь это привело также к уничтожению автономии и качества мест обитания человека. Сила усреднения и унификации оказалось той самой тяжёлой артиллерией, которой суждено было сокрушить все китайские стены.

Отныне только *свободное пространство товара* имеет возможность постоянно модифицироваться и благоустраиваться, ради того, чтобы ещё более отождествится со своей сущностью и утвердить свои границы и внутреннее устройство.

Общество, широким жестом упраздняющее любые географические расстояния, лишь воссоздаёт эти расстояния внутри себя, в виде разделения в рамках спектакля.

Туризм, человеческий кругооборот, рассматриваемый как потребление, является побочным продуктом кругооборота товаров, и сводится, по своей сути, к одному единственному развлечению: поехать и посмотреть на то, что уже стало банальным. Наличие экономической организации посещения различных достопримечательностей уже обеспечивает *одинаковость* этих достопримечательностей. Та же самая модернизация, благодаря которой из путешествия было изъято время, которое раньше тратилось на перемещение в пространстве, отняла у него и реальность самого такого перемещения.

Общество, способное самостоятельно воссоздать всё, что его будет окружать, выработало особую технологию для изменения самого рельефа своей территории, т.е. основную базу для поставленной задачи. Урбанизм – это захват капитализмом в собственность человеческой и природной среды; отныне сам капитализм, по мере логического развития к своему абсолютному господству, может и должен перестраивать всё свое пространство как *собственную декорацию*.

Капиталистическая необходимость, удовлетворяемая урбанизмом в форме видимого замораживания жизни, может выражаться – используя термины Гегеля – как абсолютное преобладание «безмятежного сосуществования пространств» над «беспокойным становлением их во времени».

Если все технологические силы капиталистической экономики следует воспринимать как орудия для создания отчуждения, то в случае урбанизма мы имеем дело со средством, обеспечивающим общую основу для таких сил: урбанизм возделывает благодатную почву для их развития. Урбанизм является самой главной технологией *разделения*.

Урбанизм является новым эффективным средством для сохранения классовой структуры власти: благодаря ему поддерживается разобщение и атомизация трудящихся, которых условия производства *собрали в сплочённую и готовую взорваться в любой момент компактную массу*. Долгое время власть вела борьбу за то, чтобы не дать трудящимся окончательно объединиться, урбанизм обеспечил успех этой борьбы. Власть, наученная горьким опытом французской революции, все свои средства и усилия направляла на поддержание порядка на улицах; она добилась своего, ликвидировав улицы. «С возникновением средств массовой коммуникации с большим радиусом действия, было доказано, что изоляция является самым действенным средством для удержания населения под контролем» – констатирует Льюис Мамфорд в своей книге «Город в истории». Однако общее развитие изоляции, являющееся плодом урбанизма, должно также включать в себя контролируемую реинтеграцию трудящихся в соответствии с планируемыми запросами производства и потребления. Интеграция в систему подразумевает, чтобы изолированные индивиды включались в неё *совместно изолированными*, – поэтому и заводы, и учреждения культуры, и курорты, и спальные районы – все они организованы так, чтобы поддерживать «псевдоколлективность», которая сопровождает индивида даже в семейной ячейке, в *семейной тюрьме*. Повсеместное использование приёмников зрелищных передач лишь способствует тому, чтобы индивид утолял свою изоляцию господствующими образами, которые и достигли своего господства исключительно благодаря подобной изоляции.

Впервые новации в архитектурном стиле, которым ранее отводилась единственная роль – удовлетворять запросы господствующих классов, оказались предназначены непосредственно *для бедных*. Широчайшее распространение данного способа проживания и его формальная нищета, целиком и полностью вытекают из его *массового* характера, который скрывается одновременно и в его назначении, и в современных условиях строительства. Авторитарная мысль, которая абстрактно организует территорию в территорию абстракции, является, очевидно, первоосновой для современных условий строительства. Во всех странах, где начинается индустриализация, возникает один и тот же архитектурный стиль, который становится подходящей почвой для внедрения нового вида общественной жизни. Можно лицезреть, что уже преодолены все пределы на пути наращивания материальных сил общества: это проявляется и на примере термоядерного вооружения, и на примере рождаемости (там дело дошло уже до манипуляций с наследственностью), и на примере урбанизма. Однако сознательного господства над этими материальными силами *как не было, так и нет*.

Сейчас мы уже можем наблюдать за саморазрушением городской среды. Наступление городов на сельскую местность, покрытую «бесформенными массами городских отходов» (по выражению Льюиса Мамфорда), напрямую диктуется императивами потребления. Диктатура автомобиля – главного продукта первой фазы товарного изобилия, проявляется в окружающей среде через господство автобанов, которые расчлениают старые городские центры и требуют ещё большего их рассеяния. При этом осколки незавершённой перестройки городской структуры временно сосредотачиваются вокруг «раздаточных предприятий», т.е. гигантских *супермаркетов*, построенных на пустырях и окружённых *парковками*. Сами эти храмы ускоренного потребления, по мере того, как они вызывают частичную перепланировку городской агломерации, вынуждены проталкиваться ещё дальше в своём центробежном движении, однако остановится им не суждено, ибо везде они превращаются в перегруженные вторичные центры. Впрочем, техническая организация потребления является всего лишь одним из элементов того ужасающего разложения, что привело город к *потреблению самого себя*.

Экономическая история, в целом развивавшаяся вокруг противоположности города и деревни, достигла, наконец, такой стадии, на которой оба эти термина утрачивают смысл. Мы можем наблюдать сейчас *паралич* всего исторического развития, который призван способствовать независимому развитию экономики в период, когда начинает исчезать и город, и деревня; однако это исчезновение происходит не через *преодоление* разрыва между ними, а через их одновременное разрушение. Стирание границ между городом и деревней, возникающее от недостатка исторического движения, благодаря которому и должна была бы быть преодолена городская действительность, проявляется в эклектическом смешении их разрозненных элементов, которые покрыли собой наиболее развитые индустриальные зоны.

Всемирная история возникла в городах, но своей завершённости она достигла лишь в результате сокрушительной победы города над деревней. По мнению Маркса, одной из важнейших революционных заслуг буржуазии было то, что «она подчинила деревню городу», чей воздух *освобождает*. Но если история города была историей свободы, то она также была и историей тирании, государственной администрации, управляющей и деревней, и самим городом. Город мог бы ещё быть полем битвы за историческую свободу, но никак не держателем этой свободы. Город – это *вотчина истории*, так как он концентрирует общественную власть, делая возможным грандиозное историческое предприятие: осознание прошлого. Следовательно, нынешняя тенденция к ликвидации города является всего лишь очередным тревожным симптомом того, что никак не получается подчинить экономику историческому сознанию, а также объединить общество, вернуть ему те силы, которые от него были отделены.

Что касается деревни, то там «наблюдается диаметрально противоположная тенденция к изолированности и разобщённости» («Немецкая идеология»). Урбанизм, разрушающий города, восстанавливает некую псевдодеревню, которой явно не хватает естественных отношений старой деревни, равно как и непосредственных общественных связей, некогда напрямую соперничавших с историческим городом. Новое искусственное крестьянство воссоздаётся в современных условиях проживания и всеобщего контроля спектакля над «обустроенной территорией»: расплётённость в пространстве и ограниченный стиль мышления, которые всегда мешали крестьянству предпринимать независимые действия и утверждать себя в качестве творческой исторической силы, теперь становятся характерными чертами всех производителей вообще. Мировое развитие по-прежнему остаётся целиком за пределами их понимания, как это было и при естественном ритме аграрного общества. Но когда подобное крестьянство, некогда бывшее непоколебимой основой для «восточного деспотизма», и чья расплётённость сама взывала к бюрократической централизации, теперь восстанавливается как один из продуктов, способствующих усилению современной государственной бюрократизации, его *апатию* приходится *исторически фабриковать*, а затем и постоянно поддерживать. Естественное невежество уступает место организованному спектаклем намеренному заблуждению. «Новые города» технологического псевдокрестьянства чётко оставляют на земле, где они были построены, следы разрыва с историческим временем; их девизом мог бы быть следующим: «Вот здесь ничего никогда не произойдёт, и *ничего никогда не происходило*». Очевидно, по причине того, что история, которая всегда должна возникать в городах – здесь не возникла, силы *исторического отсутствия* начинают создавать здесь свой собственный исключительный ландшафт.

История, угрожающая этому сумеречному миру, также является и силой, способной подчинить пространство проживаемому времени. Пролетарская революция – это *критика человеческой географии*, посредством которой индивиды и сообщества должны обустраивать территорию и организовывать события способствующие апроприации, но уже не только их труда, но и истории в целом. Пожалуй, это будет похоже на игру, чье пространство и правила будут постоянно меняться, составляя бесчисленное множество комбинаций. Здесь автономия территории перестанет быть пустым словом, несмотря на то, что её никто не будет снова привязывать к почве, а значит, восстановится реальность перемещения в пространстве и жизни, понимаемой как странствие. А ведь странствие по жизни и заключает в себе весь её смысл!

Основная революционная идея по отношению к урбанизации сама по себе не является урбанистической, технологической или эстетической. Она заключается в том, чтобы реконструировать всю среду обитания сообразно с потребностями Советов трудящихся, *антигосударственной диктатуры пролетариата*, результату дискуссии, подлежащему исполнению. И власть Советов, которая может стать эффективной, лишь преобразуя всю полноту существующих условий, не может ставить перед собой какой-либо меньшей задачи, если она желает быть признанной и хочет *познать саму себя* в собственном мире.

## Глава 8

# Отрицание и потребление в культуре

*Вы серьёзно считаете, что мы доживём до политической революции? – мы, современники этих немцев? Мой друг, вы тешите себя несбыточными надеждами... Давайте, будем судить о Германии на основе её современной истории – более чем уверен, что вы не станете утверждать, что вся её история вымышлена, а вся сегодняшняя общественная жизнь не отражает действительных настроений народа. Почитаёте газеты, какие хотите, и вы убедитесь, что мы не прекращаем (и заметьте, цензура никому в этом не мешает) прославлять нашу свободу и национальное счастье...*

*Руге, Письмо Марксу. Март 1843*

В историческом обществе, разделённом на классы, культура является общей сферой познания, а также репрезентацией проживаемого; иными словами, это *отделённая* объединяющая сила, это разделение интеллектуального труда и интеллектуальный труд по разделению. Культура выделилась из единого общества мифа, «когда объединяющая сила исчезла из жизни человека, а противоположности утратили живые связи между собой и стали абсолютно самостоятельными...» («Различие систем Фихте и Шеллинга»). Добившись своей независимости, культура начинает обогащаться, причём самими, что ни на есть, империалистическими методами, однако это уже означает закат её независимости. История, создающая относительную автономию культуры, а также некоторые идеологические иллюзии насчёт этой автономности, сама становится историей культуры. И вся победоносная история культуры может быть понята, в свою очередь, как история обнаружения её неполноты и как движение к её самоупразднению. Именно в культуре принято искать утраченное единство. Но в этом поиске культура всё равно остаётся обособленной сферой, вынужденной отрицать сама себя.

Борьба между традицией и прогрессом является основным принципом внутреннего развития культуры исторического общества и продолжается лишь благодаря постоянным победам прогресса. Тем не менее, культурный прогресс является ничем иным, как результатом всего исторического движения, которое, по мере осознания своей сущности, стремится превзойти собственные культурные предпосылки и отдаёт все свои силы, чтобы уничтожить всякое разделение.

В процессе накопления знаний об обществе, а также, и по мере постижения истории как самого главного элемента культуры, возникает новое догматическое учение, проявляющееся в отрицании бога. Однако «первым необходимым условием для любой критики» является бесконечность самой критики. Там, где больше невозможно поддерживать единственность правил поведения, любое *достижение* культуры становится предпосылкой для её разложения. Нельзя забывать печальный опыт философии: любая дисциплина, добившаяся полной автономии, обречена на гибель, прежде всего, в качестве претензии на полное объяснение всех процессов происходящих в обществе, и более того, даже как вполне эффективный в своей сфере инструментарий. *Нехватка рациональности* в культуре, основанной на разделении, как раз и является причиной, обрекающей её на исчезновение, – победа рациональности уже созрела в ней как необходимая потребность.

Культура выделилась из истории, обрушившей устои старого мира; но в качестве обособленной сферы она всё ещё остаётся на уровне легитимного дискурса и смысловой коммуникации, т.е. в *частично историческом* обществе она до сих пор носит фрагментарный характер. Культура является бессмысленным осмыслением мира.

Существуют два противоположных исхода, два возможных конца культурной истории: в одном случае произойдёт её преодоление в целостной истории, в другом – она сохранится в качестве мёртвого объекта в зрелищном созерцании. Одно из этих направлений уже связало свою судьбу с социальной критикой, а другое – с защитой классовой власти.

Оба этих возможных конца культурной истории, так или иначе, скажутся как на всех аспектах познания, так и на всех аспектах чувственного восприятия; как выяснилось, *искусство*, в общем смысле этого слова, не смогло добиться подобной широты влияния. В случае познания существует два пути: может произойти либо тупое накопление каких-то обрывочных знаний, которые впоследствии окажутся абсолютно бесполезными, ибо задача *одобрения* существующих условий рано или поздно приведёт к тому, что *познанию придётся отречься от своих собственных знаний*. Но может возникнуть и теория практики, которая одна содержит в себе истину любого познания и владеет секретом его использования. В случае восприятия, возможно либо саморазрушение под воздействием критики прежнего *общего языка* общества, либо его искусственное переустройство в рамках товарного спектакля, в иллюзорном восприятии непроживаемого.

По мере утраты своей общности, общество мифа также вынужденно теряет контакт и с подлинно общим языком: этот язык не будет обретен снова, пока расщепление образовавшейся инертной лже-общности не будет преодолено возникновением действительно исторической общности. Когда искусство, являющееся общим языком для социальной инертности, становится независимым искусством в современном смысле этого слова, т.е. выделяется из породившего его религиозного космоса и становится продуктом разделенного индивидуального труда, оно превращается в движение, властвующее над всеобщей историей разделенной культуры. Утверждение независимости искусства означает начало его разложения.

Утрата языка коммуникации получила своё *прямое* выражение в современном процессе разложения всякого искусства, в его формальном уничтожении. Обратное движение выражает то обстоятельство, что новый общий язык должен быть заново обретён не в односторонней демагогии, не особо доходчиво рассказывающей всем остальным, что было прожито и чего не хватало в прошлом, а в практической деятельности, которая бы объединила в себе и само действие, и его язык. Дело заключается в том, чтобы действительно добиться общности диалога и игры со временем, т.е. *воспроизвести* эту общность в поэтико-художественном произведении.

Искусство, став самостоятельным, изображает свой мир исключительно в ярких красках. Но одновременно с этим сама жизнь начинает тускнеть, и её уже нельзя омолодить ничем, – в лучшем случае, её можно вызывать в воспоминании. Так величие искусства начинает проявляться лишь при полном упадке жизни.

Начиная с эпохи *барокко*, историческое время, вторгшееся в искусство, отпечаталось на самом искусстве. Барокко – это искусство мира, утратившего свой центр, ибо в нём исчез последний признанный средневековым мифический порядок космоса и земного правления: распалось единство Христианского мира, сгинул во тьме призрак Империи. Отныне *искусство изменения, искусство эпохи перемен* должно само нести в себе эфемерное начало, открытое им в мире. Оно променяло, по выражению Эугенио д'Орса, «вечность на сиюминутность жизни». Театр и фестиваль, театральное празднество стали важнейшими достижениями барокко, в них любая художественная выразительность обретает смысл лишь по отношению к декорации, к воссозданному месту действия. Эта конструкция сама по себе становится центром унификации, и центр этот служит переправой через бурную реку хаоса, шатким равновесием в динамическом беспорядке целого. Та важность, порою чрезмерная, которую приобретала концепция барокко в тогдашних дискуссиях по эстетике, была выражением тех опасений, что художественный классицизм невозможен. Ведь в течение целых трёх веков все усилия, направленные на создание нормативного классицизма или неоклассицизма, привели лишь к появлению недолговечных, надуманных конструкций, которые пользовались внешним языком государства, языком абсолютной монархии или революционной буржуазии, облачившейся в римские тоги. По следам барокко прошли в дальнейшем все течения от романизма до кубизма: все они принадлежали, в конечном итоге, лишь ко всё более и более индивидуализирующемуся искусству отрицания, непрерывно обновляющемуся вплоть до окончательного раздробления и отрицания самой художественной сферы. Исчезновение исторического искусства, которое было неразрывно связано с внутренней коммуникацией элиты общества и имело полунезависимую социальную базу в тех частично игровых условиях, которые ещё проживали последние аристократы, также выразило тот факт, что капитализм стал первой классовой властью, объявившей себя свободной от онтологического качества. Его власть, заключающаяся в простом управлении экономикой, привела, в конце концов, к утрате человеческого *достоинства*. Искусство барокко, как давно потерянное единство для художественного *созидания*, вновь как бы

воспроизводится в современном *потреблении* всего художественного прошлого. Историческое познание и признание всего искусства прошлого, ретроспективно представляемого в виде мирового искусства, сваливает его в одну кучу, и этот глобальный беспорядок, в свою очередь, создаёт над собой барочную надстройку, – строение, в котором должны смешаться продукты самого барочного искусства, и всех его последователей. Отныне искусство всех цивилизаций и эпох может быть понято и принято одновременно. Возникновение целых «коллекций сувениров» из истории искусства означает *конец мира искусства*. В наш век музеев, когда уже невозможна никакая художественная коммуникация, все созданные творения искусства могут быть приняты на равных правах, ведь никто из них не пострадает от утраты своих особых условий коммуникации, тем более, что сейчас исчезли вообще *любые* условия для коммуникации.

Движение отрицания, пытающееся преодолеть искусство в историческом обществе, где история ещё не была прожита, т.е. искусство в эпоху своего разложения, является одновременно и искусством изменения, и чётким выражением невозможности любого изменения. Чем грандиозней его претензии, тем меньше эти претензии претворяются в жизнь. Это искусство является *авангардом* лишь поневоле, и поэтому-то оно и *не является* авангардом. Его авангардизм – в его исчезновении.

Дадаизм и сюрреализм – два течения, отмечающие конец современного искусства. Они являются, хотя и лишь относительно сознательным образом, современниками последней великой битвы пролетарского движения; поражение этого движения, заключившее их внутри того самого художественного поля, дряхлость которого они ранее провозглашали, и стало основной причиной их застоя. Дадаизм и сюрреализм одновременно исторически связаны и противоположны друг другу. В этом противостоянии, за которым обе стороны признают важнейший и радикальный вклад в свои течения, проявляется внутренняя недостаточность их критики, которая и там и там была слишком односторонней. Дадаизм стремился *упразднить искусство, не воплощая его*, а сюрреализм хотел *воплотить искусство, не упраздняя его*. Критическая позиция, позже выработанная *ситуационистами*, показала, что и упразднение и воплощение искусства являются двумя нераздельными аспектами одного и того же *преодоления искусства*.

Зрелищное потребление, сохраняющее старую культуру в застывшем состоянии, а также держащее под контролем любые возникающие в ней отрицающие тенденции, открыто становится в культурном секторе тем, чем оно скрыто является по сути своей: *коммуникацией некоммуникабельного*. Бедность современного языка с цинизмом официально признаётся как нечто положительное, ведь речь в данном случае идёт о пропаганде примирения с текущим положением дел, – ныне отсутствие любой коммуникации провозглашается с нескрываемым восторгом. Критическая истина этого обеднения, которая отражается на жизни современной поэзии и современного искусства, очевидно, становится скрытой, чуть только спектакль, чья функция – заставить *забыть историю в культуре*, применяет в псевдоновизне своих модернистских средств ту же стратегию, что помогла в своё время образовать само его ядро. Таким образом и получается, что может провозглашать себя как нечто новая школа неолитературы, которая попросту признаёт, что для неё написанное нужно лишь для последующего созерцания. Кроме того, наряду с простым провозглашением самодостаточности красоты разрушения коммуникации, любая новая тенденция в культуре спектакля (от которой требуется помимо прочего хорошо сочетаться с полицейской организацией современного общества) стремится посредством «комплексных произведений» внести что-то новое в неохудожественную среду, и без того составленную из разрозненных элементов. Особенно это заметно в урбанизме, куда активно внедряются остатки художественности или эстетико-технологические гибриды. На уровне псевдо-культуры спектакля всё это является выражением общего проекта развитого капитализма, который нацелен на то, чтобы вновь захватить разобщённого труженика как «личность, полностью интегрированную в коллектив», – эту тенденцию описали современные американские социологи (Райсмэн, Уайт и др.). Повсюду заметен один и тот же проект – *перестройка без последующего создания общности*.

Когда культура становится товаром, она должна стать также ведущим товаром общества спектакля. Кларк Керр, один из самых радикальных последователей этого учения, подсчитал, что на данный момент целостный процесс производства, распределения и потребления *знаний* уже захватывает ежегодно 29 процентов национального продукта Соединённых Штатов. Кроме того, он предсказывает, что во второй половине столетия культура должна стать главным двигателем в развитии экономики, каким в прошлой половине столетия был автомобиль, а во второй половине предыдущего века – железная дорога.

Все отрасли знания, которые продолжают развиваться, но уже как *мышление спектакля*, должны неоправданно оправдывать общество и создавать общую науку ложного сознания. Данное мышление характеризуется тем, что оно не может и не хочет искать собственное материальное основание в системе спектакля.

Мышление общественной организации спектакля само затуманивает себе взор той *недо-коммуникацией*, которую оно защищает. Для него остаётся загадкой, что наш мир создаётся в непрерывной борьбе. Специалисты в области управления спектаклем, обладающие абсолютной властью в рамках его системы безответного языка, абсолютно развращены своим опытом презрения и успехом этого презрения, ведь они находят оправдание своему презрению в познании *презренного человека*, каковым в действительности и является зритель.

В рамках специализированного мышления системы спектакля происходит новое разделение труда по мере того, как совершенствование этой системы ставит новые проблемы. С одной стороны, современная социология, изучающая разделение исключительно с помощью концептуальных и материальных инструментов самого разделения, проводит зрелищную критику спектакля. С другой стороны, те дисциплины, где укореняется структурализм, устраивают *апологию спектакля*, тем самым разоблачая бессмысленные выкладки своего мышления и подтверждая его *полную амнезию* касаясь исторической практической деятельности. Впрочем, безнадежная недиалектическая критика и дутый оптимизм откровенной рекламы системы, по сути, ничем друг от друга не отличаются – и в том и другом случае мы имеем дело с покорной, безобидной пародией на мышление.

Социология, впервые возникшая в Соединённых Штатах, вынесла на обсуждение условия существования, возникшие на современной стадии развития общества; для этого она собрала и обработала просто немислимое количество эмпирических данных, но так и не поняла самой сути собственного предмета, потому что ей не хватало имманентной критики. В результате, в этой социологии возникает откровенно реформистская тенденция апеллировать к морали, здравому смыслу, на совершенно беспомощные призывы к умеренности и т. д. Из-за того, что такой тип критики игнорирует всё то зло, что коренится в самой сердцевине современного мира, она только и делает, что выделяет своего рода негативный излишек, который, на её взгляд, досадно обременяет поверхность этого мира, как паразитический, иррациональный нарост. Даже когда негодование этой доброй воли бывает искренним, она доходит лишь до осуждения каких-то внешних, незначительных издержек системы; она считает себя критикой, но забывает о, по сути, *апологетическом* характере своих предпосылок и собственного метода.

Все те, кто обличает абсурдность и гибельные последствия расточительности в обществе экономической избыточности, не понимают, каким целям, собственно, служит эта расточительность. Во имя экономической рациональности они неблагодарно проклинаят тех самых иррациональных добрых ангелов-хранителей, без которых рухнула бы власть этой экономической рациональности. Так, например, Бурстин, описывая в своём *L'Image* товарное потребление в американском спектакле, так и не доходит до самого понятия «спектакля», потому что полагает, будто частную жизнь или понятие «честного товара» подобные крайности не касаются. Он не понимает, что сам товар создал законы, «честное» применение которых влечёт за собой не только радикальное изменение частной жизни, но и последующий её захват общественным потреблением образов.

Бурстин так описывает крайности отчуждённого от нас мира, как будто этих крайностей в нашем мире и в помине нет. Но «нормальных» законов общественной жизни, на которые он имплицитно ссылается, когда осуждает внешнее царство образов с психологической и моральной точки зрения как «наши чрезмерные претензии», на самом деле не существует ни в его эпоху, ни даже применительно к его книге. Бурстин не может объять всю глубину общества образов, потому что описываемую им действительную человеческую жизнь сам он воспринимает в прошедшем времени, что позволяет ему оперировать даже такими не относящимися к действительности терминами, как религиозная покорность. Суть его трактовки общества заключается в *отрицании* самого общества.

Социология, полагающая, будто функционирующая сама по себе некая промышленная рациональность может быть безболезненно отделена от общественной жизни, способна, если ей не помешать, дойти и до того, что выделит технологии производства и транспортировки из общего промышленного развития. Таким образом, Бурстин обнаруживает, что причинами полученных им результатов были досадные, нечаянные сбои при функционировании слишком уж разросшегося технологического аппарата по распространению образов и чересчур сильная тяга людей в нашу эпоху к псевдосенсациям. Вот и получается у него, что спектакль своим существованием обязан тому, что современный человек является зрителем. Бурстину невдомёк, что массовое распространение сфабрикованных «псевдособытий», которое он изобличает, проистекает из того простого факта, что люди в большинстве своём не проживают тех событий, что происходят в современной действительности общественной жизни. Именно потому, что история лишь бесплотным призраком навещает современное общество, на всех уровнях потребления жизни возникает псевдоистория, чтобы сохранить шаткое равновесие современного *застывшего времени*.

В наше время сознательно или бессознательно, однако утверждается неоспоримой идея о том, что одновременно с застыванием исторического времени происходит и его явная стабилизация, – по сути, это тенденция к *структуралистской* систематизации. Антиисторическое мышление структурализма имеет весьма своеобразный взгляд на мир: его основа – это идея о том, что в мир изначально была заложена некая система, которую никто не создавал, и которая никогда не исчезнет. Должно быть, мечта о диктатуре предзаданной, бессознательной структуры над всей социальной практикой была ошибочно позаимствована из структурных моделей, разработанных лингвистикой, этнологией и даже из анализа функционирования капитализма. Однако при всех своих достоинствах, в данном контексте *эти модели неприемлемы*, как бы ни пытались доказать обратное своим академическими мудрствованиями эти *горе-философы*: они всего лишь заняты фанатичным восхвалением системы и пошлой подгонкой всякой действительности к существованию системы.

Как и во всякой общественно-исторической науке, для того чтобы понимать «структуралистские» категории, всегда следует помнить, что они выражают формы, а также условия существования. Подобно тому, как о качествах человека не судят по его самомнению, нельзя оценивать, и тем более восхищаться каким-либо определённым обществом, принимая за чистую монету язык, на котором оно о себе рассуждает. «Нельзя оценивать подобные переходные эпохи, исходя из их сознания о себе, наоборот, необходимо прояснять это сознание через противоречия материальной жизни...». Структура – дочь современной власти. Структурализм есть *мышление, спонсируемое государством*, которое полагает, будто настоящие условия «коммуникации» спектакля – это абсолют. Его метод изучения кода сообщений является всего лишь продуктом, а ещё признанием общества, где коммуникация осуществляется в форме последовательно посылаемых иерархических сигналов. Так что не структурализм служит подтверждением внеисторической реальности общества спектакля, а как раз наоборот, общество спектакля, навязывающееся массам как реальность, служит подтверждением для горячего бреда структурализма.

Несомненно, критическое понятие *спектакля* тоже может быть опошлено и превращено в бессмысленный штамп для социологическо-политической риторики; его очень удобно использовать для объяснения и абстрактного разоблачения всего окружающего мира, но тем самым, оно будет служить лишь для защиты существующей системы спектакля. Ибо очевидно, что никакая идея не может вывести нас за пределы существующего спектакля, в лучшем случае – за пределы уже существующих идей о спектакле. Для того чтобы действительно уничтожить общество спектакля, необходимы люди, которые бы сплотили свои практические силы для конкретного действия. Критическая теория лишь тогда станет истинной, когда объединится с практическим движением отрицания в обществе, а само это отрицание, как возобновившаяся борьба революционного класса, вновь осознает себя, развив критику спектакля. Ведь сама эта критика является теорией текущих условий существования и практических условий современного подавления, но при этом раскрывает завесу тайны над тем, как должно выглядеть отрицание. Эта теория не ждёт чудес от рабочего класса. Для неё ясно заранее, что формулирование новых требований пролетариата и претворение их в жизнь – это долгая и кропотливая работа. Искусственно различая теоретическую и практическую борьбу, нельзя забывать, что, как мы уже определили, даже формулировка и внутренний язык подобной теории не будут убедительны без строго обязательной, *ригорической практики*. Также не поддаётся сомнению, что тернистая тропа критической теории также должна стать уделом и практического движения, действующего на уровне общества.

Критическая теория должна *сообщаться* на собственном языке. Таким языком является язык противоречия, и он должен быть диалектическим как по форме, так и по содержанию. Он является и критикой окружающего мира, и исторической критикой. Это не «низшая степень письма», но его отрицание. Это не отрицание стиля, а стиль отрицания.

Сама манера изложения диалектической теории кажется чудовищной и безобразной с точки зрения правил господствующего языка, а также вкуса, воспитанного этими правилами, так как, употребив какие-то конкретные понятия, она всегда заранее знает о том, что они вновь обретут *текучесть* и поэтому обязаны разложиться.

Данный стиль, содержащий в себе собственную критику, должен выражать господство современной критики над *всей прошлой*. Сам способ изложения диалектической теории свидетельствует о том духе отрицания, который в неё заложен. «Истина не похожа на продукт, на котором мы не можем найти следы создавшего его орудия» (Гегель). Данное теоретическое сознание движения, на котором должен быть чётко виден след самого движения, проявляется через отрицание установившихся отношений между понятиями, а также через *ревизию* всей предыдущей критики. Неприятие навсегда установленных генетических связей стало настоящей революцией в области мысли, впервые проявленной в эпиграмматическом стиле Гегеля. Молодой Маркс, тогда ещё верный последователь Фейербаха, последовательно заменяя субъект предикатом, добился наиболее последовательного употребления этого *мятежного стиля* и, в результате, вывел из философии нищеты – нищету философии. Ревизия приводит к ниспровержению устаревших критических выводов, успевших за годы стать недвижимыми догматическими истуканами и превратиться в ложь. Уже Кьеркегор сознательно пользовался данным методом, добавив туда и своё саморазоблачение: «Но несмотря на все старания и уловки, подобно тому, как банку с вареньем всегда возвращают в кладовую после обеда, так и ты под конец неизменно вставляешь какое-нибудь тебе не принадлежащее словечко, тревожащее тебя пробуждённым воспоминанием» («Философские фрагменты»). Именно необходимость *отмежёвывать* от того, что некогда было фальсифицировано и превращено в официально признанную истину, определяет подобное использование ревизии; в этом признаётся Кьеркегор в той же своей книге: «Позволю себе всего лишь одно замечание по поводу твоих намёков, которыми ты пытаешься поставить мне в вину то, что я замешиваю в своих утверждениях заимствованные положения. Я этого не скрываю, и не буду также отрицать, что это было сделано намеренно. Если я когда-нибудь напишу продолжение этой книги, в ней я постараюсь называть вещи своими именами и облачать проблемы в исторические наряды».

Идеи совершенствуются. Помогает в этом и смысл слов. Плагиат необходим. Его предполагает прогресс. Плагиат использует авторские идиомы, уничтожает ложные мысли, заменяет ложное правильным

Ревизия прямо противоположна цитированию, этому теоретическому авторитету, который ложен хотя потому, что ему выпала честь стать цитатой, фрагментом, вырванным из контекста, из движения, в конце концов, из самой эпохи, из её общего плана и частного представления. Причём, даже неважно, была ли эта цитата для общего плана эпохи верной или ложной. Ревизия же – это текущий язык анти-идеологии. Она возникает в процессе коммуникации, и ей ли объяснять, что она ничего не может гарантировать точно!? В своём высшем проявлении она является языком, который не сможет подтвердить ни одна предшествовавшая или сверхкритическая ссылка. Наоборот, именно благодаря её строгой внутренней последовательности, а также с помощью активного использования фактов, только она и может подтвердить подлинность истины, которую она несёт с собой. Ревизия не относит свою основу ни к чему, кроме своей собственной истины, проявляемой в виде актуальной критики.

То, что в теоретической формулировке открыто представляется как *ревизованное*, на самом деле способно сокрушить прочнейшую автономию любой теоретической сферы. Происходит это путём насилия, с помощью активизации действия, разрушающего и преодолевающего любой существующей порядок, напоминая тем самым, что существование теории само по себе – ничто, и что она должно познаваться лишь с помощью исторического действия и исторического исправления, в котором и заключается её истинная сущность.

Лишь подлинное отрицание культуры способно сохранить её сущность для потомков. Это отрицание не может более оставаться просто *культурным*. Впрочем, в чём-то оно остаётся на уровне культуры, но уже в совершенно ином смысле этого слова.

Лишь на языке противоречия критика культуры *унифицируется*, поскольку она начинает господствовать над всей культурой, со всей её наукой и поэзией, и поскольку она уже не отделяется от всеобщей социальной критики. Только такая унифицированная теоретическая критика сможет пойти навстречу унифицированной общественной практике.

## Глава 9

# Материализованная идеология

*Самосознание существует в себе и для себя, потому и благодаря тому, что оно существует для другого самосознания; то есть оно существует лишь будучи признанным и «узнанным».*

*Гегель, «Феноменология духа».*

Идеология – это *базис* мышления классового общества в период конфликтного развития истории. Идеологические догматы никогда не были просто химерами, скорее, деформированным сознанием действительности, и именно в этой роли они стали действительно движущими факторами, приведшими к деформации. И более того, когда *материализация* идеологии, воплощённая в спектакле и явившаяся результатом добившегося самостоятельности экономического производства, поражает общественную реальность своим острым жалом, она перекраивает всю реальность по собственной модели.

Когда идеология, являющаяся, по сути, *абстрактной* волей к абсолюту и её иллюзией, оказывается узаконенной в рамках абсолютной абстракции и диктатуры иллюзии современного общества, она перестаёт быть просто волюнтаристической борьбой за разделение, но её триумфом. Отныне идеологические претензии начинают обладать своего рода пошлой позитивистской точностью: дескать, теперь они уже представляют собой не исторический выбор, а факт. После такого утверждения становятся не так уж и важны частные *имена* идеологий. А само участие идеологического труда в обслуживании системы понимается теперь лишь в качестве признания некой «эпистемологической основы», притязающей на то, чтобы оставаться в стороне по отношению к любому идеологическому феномену. Материализованная идеология сама по себе безымянна, равно как и лишена всякой выражаемой исторической программы. Подытоживая, можно прийти к выводу, что история *идеологий* закончена.

Вся внутренняя логика идеологии ведёт её к появлению «тотальной идеологии», как её определял Мангейм, то есть к деспотизму фрагмента, который навязывает себя в качестве псевдознания застывшей *тотальности*, как *тоталитарное* видение. Это видение уже реализовалось в неподвижном антиисторическом спектакле. Однако данная реализация означает также дезинтеграцию идеологии во всей общественной системе. Вместе с практической дезинтеграцией данного общества должна исчезнуть и идеология, эта последняя нерациональная помеха, перекрывающая доступ к исторической жизни.

Спектакль – это идеология *par excellence*, так как во всей своей полноте он проявляет и очерчивает сущность всех идеологических систем, заключающуюся в оскудении, подчинении и отрицании реальной жизни. Материально спектакль является «выражением разделения и отчуждения между людьми». «Ложь, возведённая в новую *степень*» сосредоточена в самой сердцевине спектакля, в его производстве: «одновременно с массой вещей, будто снежный ком нарастает... новая область чуждых сущностей, которым подчиняется человек». Эта высшая стадия той экспансии, что натравила потребность против жизни. «Жажда денег – это высшая потребность, вызываемая политической экономией, причём, это единственная её потребность» («Экономико-политические рукописи»). Спектакль распространяет на всю общественную жизнь принцип, который Гегель в «Йенской реальной философии» называл принципом денег, т.е. «в себе движущейся жизнью мертвого».

Вопреки проекту, предложенному в «Тезисах о Фейербахе», который заключался в реализации философии в практике и, тем самым, в преодолении пропасти между идеализмом и материализмом, спектакль одновременно сохраняет и навязывает в своей псевдо-конкретной среде разрозненные черты и идеализма, и материализма. Созерцательная сторона старого материализма, постигающего мир как представление, а не как деятельность (и, в конечном счёте, идеализирующего материю), целиком претворилась в спектакле, где конкретные вещи автоматически оказались хозяевами общественной жизни. С другой стороны, *мечтательная деятельность* идеализма также находит своё завершение в спектакле через техническое опосредование знаков и сигналов, которые, в итоге, материализуют абстрактный идеал.

Параллель между идеологией и шизофренией, проведенная Джозефом Габелем в его книге «Ложное Сознание», следует рассматривать в контексте процесса материализации идеологии. Общество стало тем, чем идеология была всегда. Повседневная жизнь, подвластная спектаклю, ежечасно навязывает нам ложное диалектическое сознание и, по сути, побег от практической деятельности. Всё это направлено на то, что бы люди разучились узнавать друг друга: благодаря *галлюцинаторной организации общества* возникает ложное сознание, «иллюзия встречи». В обществе, в котором никто не может *отличить* одного человека от другого, индивидуум уже не способен осознать свою реальность. Идеология, наконец, может чувствовать себя как дома. Её мир воздвигло разделение.

По словам Габеля: «При клинических формах шизофрении неизменно происходит как расстройство диалектики целого (и, в конце концов, разложение этой диалектики), так и расстройство диалектики становления (с кататонией как крайней формой его проявления)». Сознание зрителя заточено в карцер опошлённой вселенной. Эта вселенная строго ограничена экраном спектакля, за которым и томится вся личная жизнь зрителя. Теперь он общается лишь с *выдуманными собеседниками*, которые рассказывают ему исключительно о своём товаре и о политике своего товара. Спектакль по своей сути является отражением в зеркале. В центре его безвкусных декораций находится богато украшенная дверь, через которую, якобы, можно убежать от всеобщего аутизма. Но за этой дверью лишь паутина и пыль, – никуда через неё не убежишь.

Спектакль стирает границы между «Я» и окружающим миром, путём деформации «Я», постоянно преодолеваемого отсутствием присутствия данного мира. Таким же образом человек, оказавшийся в спектакле, перестаёт отличать ложь от правды, по той причине, что всякая переживаемая правда теряется за *реальным присутствием* лжи, которое обеспечивается самой организацией видимости. Человек безропотно переносит свою участь, заключающуюся в отчуждении собственной повседневной жизни, тем самым, он опускается до безумия, которое подсказывает ему иллюзорный путь избавления от этой участи: а именно, советует обратиться к экстрасенсам и прочим шарлатанам. Данная односторонняя коммуникация очень выгодна для спектакля, ибо располагает к послушному приятию и потреблению товаров. Потребитель во всём хочет подражать, данная инфантильная потребность обусловлена его фундаментальной нищетой. Здесь можно воспользоваться высказыванием, которые Габель употребляет применительно к совершенно иной патологии: «ненормальная потребность выставления себя напоказ в данном случае компенсирует мучительное сознание собственной ненужности».

И если логика ложного сознания никогда не сумеет истинно познать себя, то поиски критической истины о спектакле просто обязаны стать истинной критикой. Эта критика должна на практике вести бескомпромиссную борьбу бок о бок со всеми решительными противниками спектакля, и признавать, что без них её существование невозможно. Однако не следует вдаваться в крайности и гоняться за немедленными результатами – такая спешка только идёт на руку системе и согласуется с господствующим мышлением, которое и порождает компромиссы реформизма, а также псевдореволюционных недобитков-радикалов. Безумие часто поражает того, кто с ним борется. Если критика действительно хочет выйти за пределы спектакля, она должна *научиться ждать*.

Самоосвобождение в нашу эпоху должно заключаться в избавлении от материальной базы, на которой зиждется ложь современного мира. Эту «историческую миссию по установлению правды в мире» нельзя поручить ни какому-то изолированному индивиду, ни подверженной манипуляциям разобщённой толпе, но только классу, способному стать разрушителем всех классов, путём прихода к власти неотчуждённой, истинной формы демократии, – Советов. Только в Советах практическая теория будет способна контролировать сама себя и ощущать собственное воздействие. Только в Советах индивиды «непосредственно будут связаны с всеобщей историей», только в них может восторжествовать диалог.